3418

Включено
в
каталог [illegible]

ПРОВЕРЕНО
1939 г.

1941

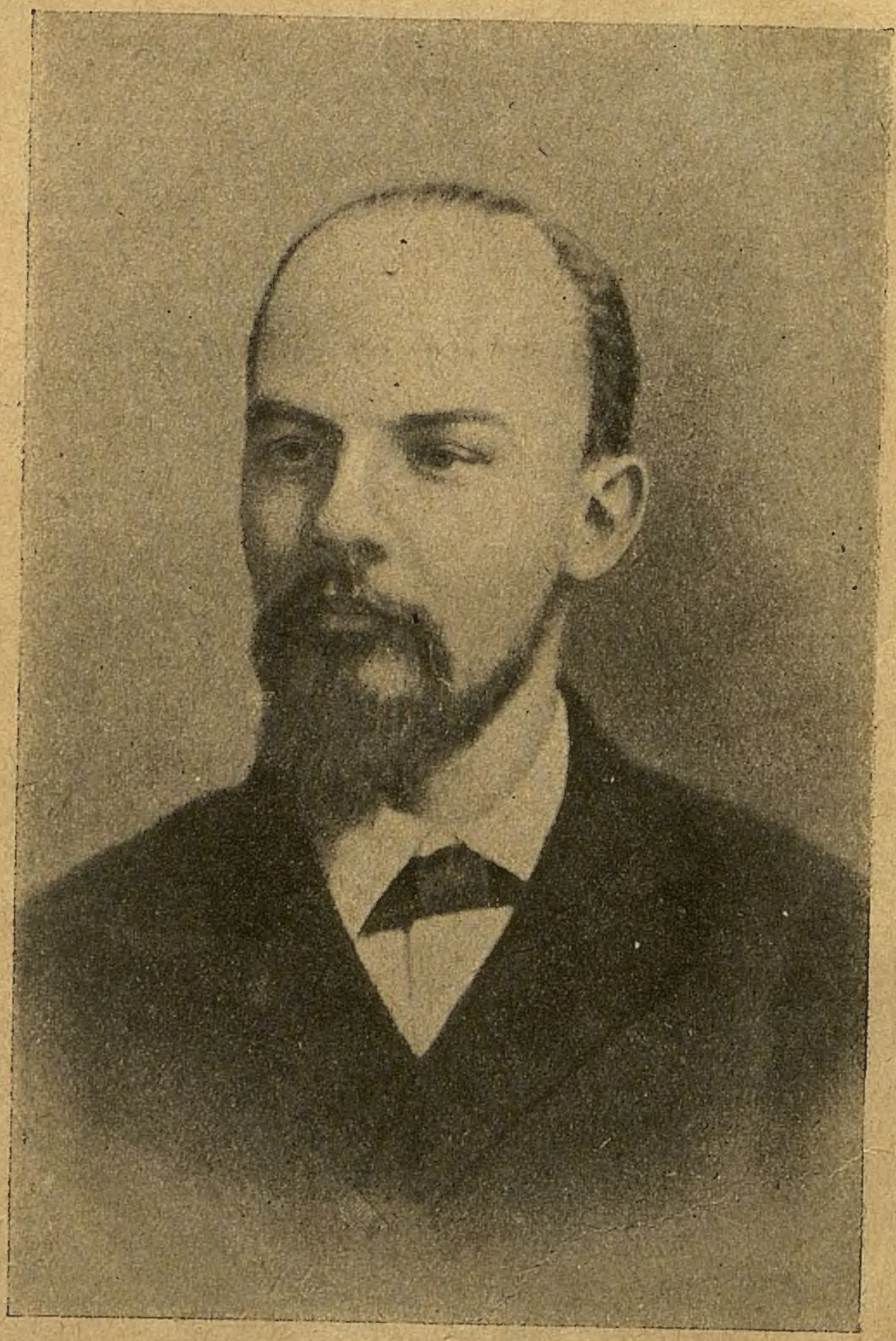
22311 ~~3418~~

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срока

Тип. 1-й А. С. П. Зак. 4?75. - 5..600.

дублет



В. И. ЛЕНИН. Снимок относится к девятисотым годам.

9(47)8(003)
К-84
Инв. 22311
3418
III-1
9(47)8(003)
~~91(003)~~
К 84
1953
Ин. № ~~22311~~
1965
80
22311
~~2739~~
~~2741~~. ~~566~~

Н. КРУПСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

БИБЛИОТЕКА
Областного Дома Рабпрос
1988

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва ★ 1926 ★ Ленинград

1-я ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА - ПЯТНИЦКАЯ 71
Главлит № 60335
Гиз 16171. Тир. 7000

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
1893—1894	7
1894—1898	12
1898—1901	28
1901—1902	50
Жизнь в Лондоне	67
После второго съезда	89
„Пятый“ год	99

1893 — 1894

Владимир Ильич приехал в Питер осенью 1893 года, но я познакомилась с ним не сразу. Слышала я от товарищей, что с Волги приехал какой-то очень знающий марксист, затем мне принесли тетрадку „о рынках“, порядком-таки зачитанную. В тетрадке были изложены взгляды, с одной стороны, нашего питерского марксиста, технолога Германа Красина, с другой — взгляды приезжего волжанина. Тетрадка была согнута пополам: на одной стороне растрепанным почерком, с помарками и вставками, излагал свои мысли Г. Красин, на другой — старательно, без помарок, писал свои примечания и возражения приезжий.

Вопрос о рынках тогда очень интересовал всех нас, молодых марксистов.

В питерских марксистских кружках в это время стало уже откристаллизовываться особое течение. Суть его заключалась в том, что процессы общественного развития представителям этого течения казались чем-то механическим, схематическим. При таком понимании общественного развития отпадала совершенно роль масс, роль пролетариата. Революционная диалектика марксизма выбрасывалась куда-то за борт, оставались мертвые „фазы развития“. Конечно, сейчас каждый марксист сумел бы опровергнуть эту „механическую“ точку зрения, но тогда наши питер-

ские марксистские кружки весьма волновались по этому поводу. Мы были еще очень плохо вооружены — многие из нас не знали из Маркса, например, ничего, кроме первого тома „Капитала“, даже „Коммунистического Манифеста“ в глаза не видали и лишь инстинктом чувствовали, что эта „механичность“ — прямая противоположность живому марксизму.

Вопрос о рынках стоял в тесной связи с этим общим вопросом понимания марксизма.

Сторонники „механичности“ обычно очень абстрактно подходили к вопросу.

С тех пор прошло больше тридцати лет.

Тетрадка, о которой идет речь, к сожалению, не сохранилась.

Я могу говорить только о том впечатлении, какое она произвела на нас.

Вопрос о рынках в его трактовке приезжим марксистом ставился архи-конкретно, связывался с интересами масс, чувствовался во всем подходе именно живой марксизм, берущий явления в их конкретной обстановке и в их развитии.

Хотелось поближе познакомиться с этим приезжим, узнать поближе его взгляды.

Увидала я Владимира Ильича лишь на масленице. На Охте у инженера Классона, одного из видных питерских марксистов, с которым я года два перед тем была в марксистском кружке, решено было устроить совещание некоторых питерских марксистов с приезжим волжанином. Для-ради конспирации были устроены блины. На этом свидании, кроме Владимира Ильича, были: Классон, Я. П. Коробко, Серебровский, Ст. Ив. Радченко и другие; должны были притти Потресов и Струве, но, кажется, не пришли. Мне запомнился один момент. Речь шла о пу-

тях, какими надо итти. Общего языка как-то не находилось. Кто-то сказал — кажется, Шевлягин, — что очень важна вот работа в комитете грамотности. Владимир Ильич засмеялся, и как-то зло и сухо звучал его смех — я потом никогда не слыхала у него такого смеха.

„Ну, что ж, кто хочет спасать отечество в комитете грамотности, что ж, мы не мешаем".

Надо сказать, что наше поколение подростками еще было свидетелями схватки народовольцев с царизмом, свидетелями того, как либеральное „общество" сначала всячески „сочувствовало", а после разгрома партии Народной Воли трусливо поджало хвост, боялось всякого шороха, начало проповедь „малых дел".

Злое замечание Владимира Ильича было понятно. Он пришел сговариваться о том, как итти вместе на борьбу, а в ответ услышал призыв распространять брошюры комитета грамотности.

Потом, когда мы близко познакомились, Владимир Ильич рассказал мне однажды, как отнеслось „общество" к аресту его старшего брата. Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок-учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы. Тогда еще не было железной дороги из Симбирска, матери Владимира Ильича надо было ехать на лошадях до Сызрани, чтобы добраться до Питера, где сидел сын. Владимира Ильича послали искать попутчика — никто не захотел ехать с матерью арестованного.

Эта всеобщая трусливость произвела, по словам Владимира Ильича, на него тогда очень сильное впечатление.

Это юношеское переживание, несомненно, наложило печать на отношение Владимира Ильича к „обществу", к либералам. Он рано узнал цену всякой либеральной болтовни.

Осенью того же 1894 г. Владимир Ильич в своей статье „Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве“ писал: „Буржуазия царит и в жизни и в обществе. Казалось бы, следует отвернуться от общества и итти к антиподу буржуазии“ (Собр. соч., т. II, стр. 18).

И далее:

„Вы (народники)... приписываете желание защищать буржуев тому... — кто требует от идеологов трудящегося класса полного разрыва с этими элементами и исключительного служения тому, кто „диференцирован от жизни“ буржуазного общества“ (там же, стр. 54).

Известна точка зрения Владимира Ильича на либералов, его недоверие к ним, постоянное разоблачение их... Я привела только некоторые цитаты, относящиеся к тому же году, когда было совещание в квартире Классона.

На „блинах“ ни до чего не договорились, конечно. Владимир Ильич говорил мало, больше присматривался к публике. Людям, называвшим себя марксистами, стало неловко под пристальными взорами Владимира Ильича.

Помню, когда мы возвращались, идя вдоль Невы с Охты домой, мне впервые рассказали о брате Владимира Ильича.

Владимир Ильич очень любил брата. У них было много общих вкусов, у обоих была потребность долго оставаться одному, чтобы можно было сосредоточиться. Они жили обычно вместе, одно время в особом флигеле, и когда заходил к ним кто-либо из многочисленной молодежи — двоюродных братьев или сестер — их было много, у мальчиков была излюбленная фраза: „Осчастливьте своим отсутствием“. Оба брата умели упорно работать, оба были революционно настроены. Но сказывалась,

вероятно, разница возрастов. Александр Ильич не обо всем говорил с Владимиром Ильичем.

Вот что рассказывал Владимир Ильич:

Брат был естественником. Последнее лето, когда он приезжал домой, он готовился к диссертации о кольчатых червях и все время работал с микроскопом. Чтобы использовать максимум света, он вставал на заре и тотчас же брался за работу. „Нет, не выйдет из брата революционера, подумал я тогда, — рассказывал Владимир Ильич, — революционер не может уделять столько времени исследованию кольчатых червей". Скоро он увидел, как он ошибся.

Судьба брата имела, несомненно, глубокое влияние на Владимира Ильича. Большую роль при этом сыграло то, что Владимир Ильич к этому времени уже о многом самостоятельно думал, решал уже для себя вопрос о необходимости революционной борьбы

Если бы это было иначе, судьба брата, вероятно, причинила бы ему только глубокое горе или, в лучшем случае, вызвала бы в нем решимость и стремление итти по пути брата. При данных условиях судьба брата обострила лишь работу его мысли, выработала в нем необычайную трезвость, уменье глядеть правде в глаза, не давать себя ни на минуту увлечь фразой, иллюзией, выработала в нем величайшую честность в подходе ко всем вопросам.

1894 — 1898

Осенью 1894 года Владимир Ильич читал в нашем кружке свою работу „Друзья народа“. Помню, как всех захватила эта книга. В ней с необыкновенной ясностью была поставлена цель борьбы. „Друзья народа“ в отгектографированном виде потом ходили по рукам под кличкой „желтеньких тетрадок“. Они были без подписи. Их читали довольно широко, и нет никакого сомнения, что они оказали сильное влияние на тогдашнюю марксистскую молодежь. Когда, в 1896 году, я была в Полтаве, П. П. Румянцев, бывший в те времена активным социал-демократом, только что вышедшим из тюрьмы, характеризовал „Друзья народа“, как наилучшую, наиболее сильную и полную формулировку точки зрения революционной социал-демократии.

Зимою 1894—1895 г. я познакомилась с Владимиром Ильичем уже довольно близко. Он занимался в рабочих кружках за Невской заставой, я там же четвертый год учительствовала в Смоленской вечерне-воскресной школе и довольно хорошо знала жизнь тракта. Целый ряд рабочих из кружков, где занимался Владимир Ильич, были моими учениками по воскресной школе: Бабушкин, Боровков, Грибакин, Бодровы — Арсений и Филипп, Жуков и др. В те времена вечерне-воскресная школа была прекрасным средством широкого знакомства с повседневной жизнью,

с условиями труда, настроением рабочей массы. Смоленская школа была на 600 человек, не считая вечерних технических классов и примыкавших к ней школ женской и Обуховской. Надо сказать, что рабочие относились к „учительницам“ с безграничным доверием: мрачный сторож Громовских лесных складов с просиявшим лицом докладывал учительнице, что у него сын родился; чахоточный текстильщик желал ей за то, что выучила грамоте, удалого жениха; рабочий сектант, искавший всю жизнь бога, с удовлетворением писал, что только на страстной узнал он от Рудакова (другого ученика школы), что бога вовсе нет, и так легко стало, потому что нет хуже, как быть рабом божьим, — тут тебе податься некуда, рабом человеческим легче быть, — тут борьба возможна; напивавшийся каждое воскресенье до потери человеческого облика табачник, так насквозь пропитанный запахом табака, что, когда наклонишься к его тетрадке, голова кружилась, писал каракулями, пропуская гласные, — что вот нашли на улице трехлетнюю девчонку, и живет она у них в артели, надо в полицию отдавать, а жаль; приходил одноногий солдат и рассказывал, что Михайла, который у вас прошлый год грамоте учился, надорвался над работой, помер, а помирая, вас вспоминал, велел поклониться и жить долго приказал; рабочий-текстильщик, горой стоявший за царя и попов, предупреждал, чтобы „того, черного, остерегаться, а то он все на Гороховую шляется“; пожилой рабочий толковал, что никак он из церковных старост уйти не может, „потому что больно попы народ обдувают и их надо на чистую воду выводить, а церкви он совсем даже не привержен и насчет фаз развития понимает очень хорошо“, и т. д., и т. п. Рабочие, входившие в организацию, ходили в школу, чтобы приглядываться к народу и намечать, кого можно втянуть

в кружки, вовлечь в организацию. Для них учительницы не все уже были на одно лицо, они уж различали, кто из них насколько подготовлен. Если признают, что учительница „своя“, дают ей знать о себе какой-нибудь фразой, например, при обсуждении вопроса о кустарной промышленности скажут: „Кустарь не может выдержать конкуренции с крупным производством“, или вопрос загнут: „А какая разница между петербургским рабочим и архангельским мужиком?“ и после этого смотрят уж на учительницу особым взглядом и кланяются ей по-особенному: „Наша, мол, знаем“.

Что случится на тракту, сейчас же все рассказывали, знали — учительницы передадут в организацию.

Точно молчаливый уговор какой-то был.

Говорить в школе можно было, в сущности, обо всем, несмотря на то, что в редком классе не было шпика; надо было только не употреблять страшных слов „царь“, „стачка“ и т. п., тогда можно было касаться самых основных вопросов. А официально было запрещено говорить о чем бы то ни было: однажды закрыли так называемую повторительную группу за то, что там, как установил нагрянувший инспектор, преподавали десятичные дроби, разрешалось же по программе учить только четырем правилам арифметики.

Я жила в то время на Старо-Невском, в доме с проходным двором, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры. Я была в то время влюблена в школу, и меня можно было хлебом не кормить, лишь бы дать поговорить о школе, об учениках, о Семянникове, Торнтоне, Максвеле и других фабриках Невского тракта. Владимир Ильич интересовался каждой мелочью, рисовавшей быт, жизнь рабочих, по от-

дельным черточкам старался охватить жизнь рабочего в целом, найти то, за что можно ухватиться, чтобы лучше подойти к рабочему с революционной пропагандой. Большинство интеллигентов того времени плохо знало рабочих. Приходил интеллигент в кружок и читал рабочим как бы лекцию. Долгое время в кружках „проходилась“ по рукописному переводу книжка Энгельса „Семья, собственность и государство“. Владимир Ильич читал с рабочими „Капитал“ Маркса, объяснял им его, а вторую часть занятий посвящал расспросам рабочих об их работе, условиях труда и показывал им связь их жизни со всей структурой общества, говоря как, каким путем можно переделать существующий порядок. Увязка теории и практики — вот что было особенностью работы Владимира Ильича в кружках. Постепенно такой подход стали применять и другие члены нашего кружка. Когда в следующем году появилась виленская брошюра „Об агитации“, — почва для ведения листковой агитации была уже вполне подготовлена, надо было только приступить к делу. Метод агитации на почве повседневных нужд рабочих в нашей партийной работе пустил глубокие корни. Я поняла всю плодотворность этого метода вполне только гораздо позже, когда жила в эмиграции во Франции и наблюдала, как во время громадной забастовки почтарей в Париже французская социалистическая партия стояла совершенно в стороне и не вмешивалась в эту стачку. Это-де дело профсоюзов. Они считали, что дело партии — только политическая борьба. Необходимость увязки экономической и политической борьбы была им совершенно неясна.

Многие из товарищей, работавших тогда в Питере, видя эффект листковой агитации, в увлечении этой формой работы забыли, что это одна из форм, но не единствен-

ная форма работы в массе, и пошли по пути пресловутого „экономизма“.

Владимир Ильич никогда не забывал о других формах работы. В 1895 г. он пишет брошюру „Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах“. В этой брошюре Владимир Ильич дал блестящий образец того, как надо было подходить к рабочему-середняку того времени и, исходя из его нужд, шаг за шагом подводить его к вопросу о необходимости политической борьбы. Многим интеллигентам эта брошюра показалась скучной, растянутой, но рабочие зачитывались ею: она была им понятна и близка (брошюра была напечатана в народовольческой типографии и распространена среди рабочих). В то время Владимир Ильич внимательно изучал фабричные законы, считая, что объясняя эти законы особенно легко выяснить рабочим связь их положения с государственным устройством. Следы этого изучения видны в целом ряде статей и брошюр, написанных в то время для рабочих, и в брошюрах „Новый фабричный закон“, в статьях „О стачках“, „О промышленных судах“ и др.

Хождение по рабочим кружкам не прошло, конечно, даром: началась усиленная слежка. Из всей нашей группы Владимир Ильич лучше всех был подкован по части конспираций: он знал проходные дворы, умел великолепно надувать шпионов, обучал нас, как писать химией в книгах, как писать точками, ставить условные знаки, придумывал всякие клички. Вообще у него чувствовалась хорошая народовольческая выучка. Недаром он с таким уважением говорил о старом народовольце Михайлове, получившем за свою конспиративную выдержку кличку „дворник“. Слежка все росла, и Владимир Ильич настаивал, что должен быть намечен „наследник“, за которым нет

слежки и которому надо передать все связи. Так как я была наиболее „чистым“ человеком, то решено было назначить „наследницей“ меня. В первый день пасхи нас человек 5 — 6 поехало „праздновать пасху“ в Царское Село к одному из членов нашей группы — Сильвину, который жил там на уроке. Ехали в поезде как незнакомые. Чуть не целый день просидели над обсуждением того, какие связи надо сохранить. Владимир Ильич учил шифровать. Почти полкниги исшифровали. Увы, потом я не смогла разобрать этой первой коллективной шифровки. Одно было утешением: к тому времени, когда пришлось расшифровать, громадное большинство „связей“ уже провалилось.

Владимир Ильич тщательно собирал эти „связи“, выискивая всюду людей, которые могли бы так или иначе пригодиться в революционной работе. Помню, раз, по инициативе Владимира Ильича, было совещание представителей нашей группы (Владимира Ильича и, кажется, Кржижановского) с группой учительниц воскресной школы. Почти все они потом стали социал-демократками. В числе их была Лидия Михайловна Книпович, старая народоволка, перешедшая через некоторое время к социал-демократам. Старые партийные работники помнят ее. Человек с громадной революционной выдержкой, строгая к себе и другим, прекрасно знавшая людей, прекрасный товарищ, окружавшая любовью, заботой тех, с кем она работала, Лидия сразу оценила во Владимире Ильиче революционера. Она взяла на себя сношения с народовольческой типографией: договаривалась, передавала рукописи, получала оттуда уже напечатанные брошюры, развозила корзины с ними по своим знакомым, организовала разноску литературы рабочим. Когда она была арестована, — по указаниям предателя, наборщика типо-

Областного Дома Работ

~~22311~~ 3418
22311

графии — было арестовано у разных знакомых Лидии двенадцать корзин с нелегальными брошюрами. Народовольцы печатали тогда массами брошюры для рабочих: „Рабочий день“, „Кто чем живет“, брошюру Владимира Ильича „О штрафах“, „Царь-Голод“ и др. Двое из народовольцев, работавших в лахтинской типографии, Шаповалов и Катанская, — теперь в рядах коммунистической партии. Лидии Михайловны нет уж в живых. Она умерла в 1920-м году, когда Крым, где она жила последние годы, был под белыми. Умирая, в бреду она рвалась к своим, к коммунистам, умерла с именем дорогой ей партии коммунистов на устах. Из учительниц были, кажется, еще П. Ф. Кудели, А. И. Мещерякова (обе теперь члены партии) и др. За Невской же заставой учительствовала и Александра Михайловна Калмыкова — прекрасная лекторша (помню ее лекции для рабочих о государственном бюджете), имевшая в то время книжный склад на Литейном. С Александрой Михайловной познакомился тогда близко и Владимир Ильич. Струве был ее воспитанником, у нее всегда бывал и Потресов, товарищ Струве по гимназии. Позднее Александра Михайловна содержала на свои деньги старую „Искру“, вплоть до 2-го съезда. Она не пошла следом за Струве, когда он перешел к либералам, и решительно связала себя с искровской организацией. Кличка ее была „тетка“. Она очень хорошо относилась к Владимиру Ильичу. Теперь она умерла, перед тем два года лежала в санатории в Детском Селе, не вставая. Но к ней приходили иногда дети из соседних детских домов. Она рассказывала им об Ильиче. Она писала мне весной 1924 года, что надо издать особой книжкой статьи Владимира Ильича 17-го года, полные горячей страсти, его горячие призывы, так действовавшие тогда на массы. В 1922 году Владимир Ильич написал Александре Михай-

ловне несколько строк теплого привета, таких, какие только умел он писать. Александра Михайловна была тесно связана с группой „Освобождение Труда“. Одно время (кажется, в 1899 г.), когда Засулич приезжала в Россию, Александра Михайловна устраивала ее нелегально и постоянно с ней видалась. Под влиянием начавшего нарастать рабочего движения и под влиянием статей и книг группы „Освобождение Труда“, под влиянием питерских социал-демократов полевел Потресов, полевел на время и Струве. После ряда предварительных собраний стала нащупываться почва для совместной работы. Задумали сообща издать сборник „Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития“. От нашей группы в редакцию входили: Владимир Ильич, Старков и Степан Ив. Радченко, от них — Струве, Потресов и Классон. Судьба сборника известна. Он был сожжен царской цензурой. Весной 1895 г. перед отъездом за границу Владимир Ильич усиленно ходил в Озерный переулок, где жил тогда Потресов, торопясь закончить работу.

Лето 1895 г. Владимир Ильич провел за границей, частью прожил в Берлине, где ходил по рабочим собраниям, частью в Швейцарии, где впервые видел Плеханова, Аксельрода, Засулич. Приехал полон впечатлений, захватив из-за границы чемодан с двойным дном, между стенками которого была набита нелегальная литература.

Тотчас же за Владимиром Ильичем началась бешеная слежка: следили за ним, следили за чемоданом. У меня двоюродная сестра служила в то время в адресном столе. Через пару дней после приезда Владимира Ильича она рассказала мне, что ночью, во время ее дежурства, пришел сыщик, перебирал дуги (адреса в адресном столе надевались по алфавиту на дуги) и хвастал: „Выследили, вот, важного государственного преступника Ульянова, —

брата его повесили, — приехал из-за границы, теперь от нас не уйдет". Зная, что я знаю Владимира Ильича, двоюродная сестра поторопилась сообщить мне об этом. Я, конечно, сейчас же предупредила Владимира Ильича. Нужна была сугубая осторожность. Дело, однако, не ждало. Работа развертывалась. Завели разделение труда, поделив работу по районам. Стали составлять и пускать листки. Помню, что Владимир Ильич составил первый листок к рабочим Семянниковского завода. Тогда у нас не было никакой техники. Листок был переписан от руки печатными буквами, распространялся он Бабушкиным. Из четырех экземпляров 2 подобрали сторожа, 2 пошли по рукам. Распространялись листки и по другим районам. Так, на Васильевском Острове был составлен листок к работницам табачной фабрики Лаферм. А. А. Якубова и З. П. Невзорова (Кржижановская) прибегли к такому способу распространения: свернув листки в трубочки так, чтобы их можно было удобно брать поодиночке, и пристроив соответственным образом передники, они, как только раздался гудок, пошли быстрым шагом навстречу работницам, валившим гурьбой из ворот фабрики, и почти пробежали мимо, рассовывая недоумевающим работницам в руки листки. Листок имел успех. Листки, брошюры шевелили рабочих. Решено было еще издавать — благо была нелегальная типография — популярный журнал „Рабочее Дело". Тщательно готовил Владимир Ильич к нему материал. Каждая строчка проходила через его руки. Помню одно собрание у меня на квартире, когда Запорожец с необычайным увлечением рассказывал о материале, который ему удалось собрать на сапожной фабрике за Московской заставой. „За все штраф, — рассказывал он, — каблук на сторону посадишь — сейчас штраф". Владимир Ильич рассмеялся: „Ну, если каблук на сторону посадил, так

штраф, пожалуй, и за дело". Материал собирал и проверял Владимир Ильич тщательно. Помню, как собирался, например, материал о фабрике Торнтона. Решено было, что я вызову к себе своего ученика, браковщика фабрики Торнтона, Кроликова, уже высылавшегося раньше из Петербурга, и соберу у него по плану, намеченному Владимиром Ильичем, все сведения. Кроликов пришел в какой-то занятой у кого-то шикарной шубе, принес целую тетрадь сведений, которые были им еще устно дополнены. Сведения были очень ценные. Владимир Ильич на них так и накинулся. Потом я с Апполинарией Александровной Якубовой, повязавшись платочками и придав себе вид работниц, сами ходили еще в общежитие фабрики Торнтона, побывали и на холостой половине и на семейной. Обстановка была ужасающая. Только на основании так собранного материала писал Владимир Ильич корреспонденции и листки. Посмотрите его листок к рабочим и работницам фабрики Торнтона. Какое детальное знание дела в нем видно. И какая это школа была для всех работавших тогда товарищей. Вот уж когда учились „вниманию к мелочам". И как глубоко врезывались в сознание эти мелочи.

Наше „Рабочее Дело" не увидало света. 8 декабря было у меня на квартире заседание, где окончательно зачитывался уже готовый к печати номер. Он был в двух экземплярах. Один экземпляр взял Ванеев для окончательного просмотра, другой остался у меня. На утро я пошла к Ванееву за исправленным экземпляром, но прислуга мне сказала, что он накануне съехал с квартиры. Раньше мы условились с Владимиром Ильичем, что я в случае сомнений буду наводить справки у его знакомого — моего сослуживца по главному управлению железных дорог, где я тогда служила, — Чеботарева. Владимир Ильич там обедал и бывал каждый день. Чеботарева

на службе не было. Я зашла к ним. Владимир Ильич на обед не приходил: ясно было, что он арестован. К вечеру выяснилось, что арестованы очень многие из нашей группы. Хранившийся у меня экземпляр „Рабочего Дела“ я отнесла на хранение к Нине Александровне Герд— моей подруге по гимназии, будущей жене Струве. Чтобы не всадить еще больше арестованных, было решено пока „Рабочее Дело“ не печатать.

Этот петербургский период работы Владимира Ильича был периодом чрезвычайно важной, но невидной по существу, незаметной работы. Он сам так характеризовал ее. В ней не было внешнего эффекта. Вопрос шел не о геройских подвигах, а о том, как наладить тесную связь с массой, сблизиться с ней, научиться быть выразителем ее лучших стремлений, научиться быть ей близким и понятным и вести ее за собой. Но именно в этот период петербургской работы выковывался из Владимира Ильича вождь рабочей массы.

Когда я пришла в первый раз после ареста нашей публики в школу, Бабушкин отозвал меня в угол под лестницу и там передал мне написанный рабочими листок по поводу ареста. Листок носил чисто политический характер. Бабушкин просил передать листок в технику и доставить им для распространения. До тех пор у нас с ним никогда не было прямой речи о том, что я связана с организацией. Я передала листок нашим. Помню это собрание — было оно на квартире Ст. Ив. Радченко. Собрались все остатки группы. Прочитав листок, Ляховский воскликнул: „Разве можно печатать этот листок,— он ведь написан на чисто политическую тему“. Однако, так как листок был, несомненно, написан рабочими, по собственной инициативе, так как они просили его непременно напечатать, решено было листок печатать.

Так и сделали. Сношения с Владимиром Ильичем завязались очень быстро. В те времена заключенным в предварилке можно было передавать книг сколько угодно, они подвергались довольно поверхностному осмотру, во время которого нельзя было, конечно, заметить мельчайших точек в середине букв или чуть заметного изменения цвета бумаги в книге, где писалось молоком. Техника конспиративной переписки у нас быстро совершенствовалась. Характерна была заботливость Владимира Ильича о сидящих товарищах. В каждом письме на волю был всегда ряд поручений, касающихся сидящих: к такому-то никто не ходит, надо подыскать ему „невесту", такому-то передать на свидании через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки, на такой-то странице, такому-то достать теплые сапоги и пр. Он переписывался с очень многими из сидящих товарищей, для которых эта переписка имела громадное значение. Письма Владимира Ильича дышали бодростью, говорили о работе. Получая их, человек забывал, что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я помню впечатление от этих писем (в августе 1896 г. я тоже села). Письма молоком приходили через волю в день передачи книг — в субботу. Посмотришь на условные знаки в книге и удостоверишься, что в книге письмо есть. В шесть часов давали кипяток, а затем надзирательница водила уголовных в церковь. К этому времени разрежешь письмо на длинные полоски, заваришь чай, и как уйдет надзирательница, начинаешь опускать полоски в горячий чай — письмо проявляется (в тюрьме неудобно было проявлять на свечке письма, вот Владимир Ильич додумался проявлять их в горячей воде), и такой бодростью оно дышит, с таким захватывающим интересом читается. Как на воле Владимир Ильич стоял в центре

всей работы, так в тюрьме он был центром сношений с волей.

Кроме того, он много работал в тюрьме. Там было подготовлено „Развитие капитализма“. Владимир Ильич заказывал в легальных письмах нужные материалы, статистические сборники. „Жаль, рано выпустили, надо бы еще немножко доработать книжку, в Сибири книги доставать трудно“—в шутку говорил Владимир Ильич. Не только „Развитие капитализма“ писал Владимир Ильич в тюрьме, писал листки, нелегальные брошюры, написал проект программы для первого съезда (он состоялся лишь в 1898 г., но намечался раньше), высказывался по вопросам, обсуждавшимся в организации. Чтобы его не накрыли во время писанья молоком, Владимир Ильич делал из хлеба маленькие молочные чернильницы, которые — как только щелкнет фортка, — быстро отправлял в рот. „Сегодня съел шесть чернильниц“,— в шутку добавлял Владимир Ильич к письму.

Но как ни владел Владимир Ильич собой, как ни ставил себя в рамки определенного режима, а нападала, очевидно, и на него тюремная тоска. В одном из писем он развивал такой план. Когда их водили на прогулку, из одного окна коридора на минутку виден кусок тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, чтобы мы — я и Апполинария Александровна Якубова — в определенный час пришли и стали на этот кусочек тротуара, тогда он нас увидит. Апполинария почему-то не могла пойти, а я несколько дней ходила и простаивала подолгу на этом кусочке. Только что-то из плана ничего не вышло, не помню уже отчего.

Пока Владимир Ильич сидел, работа на воле разрасталась, стихийно росло рабочее движение. После ареста Мартова, Ляховского и др. силы группы еще более осла-

бели. Правда, в группу входили новые товарищи, но это была публика уже менее идейно закаленная, а учиться уже было некогда, движение требовало обслуживания, требовало массы сил, все уходило на агитацию, о пропаганде некогда было и думать. Листковая агитация имела большой успех. Часто листки писались наскоро, без достаточного изучения конкретных условий. Стачка ткачей в 1896 г. прошла под влиянием социал-демократов и многим вскружила голову. Создавалась почва для расцвета экономизма. Помню, как однажды (кажется, в начале августа) на собрании в лесу, в Павловске, Сильвин читал вслух проект листка. В одном месте там попалась фраза, прямо ограничивающая рабочее движение одной экономической борьбой. Прочтя ее вслух, Сильвин остановился. „Ну, и загнул же я, как это меня угораздило“,— сказал он смеясь. Фраза была вычеркнута. Летом 1896 г. с треском провалилась лахтинская типография, пропала возможность печатать брошюры, пришлось надолго отложить попечение о журнале.

Во время стачки 1896 г. в нашу группу вошла группа Тахтарева, известная под кличкой „обезьян“, и группа Чернышева, известная под кличкой „петухов“ [1]). Но пока „декабристы“ сидели в тюрьме и держали связь с волей, работа шла еще по старому руслу. Когда Владимир Ильич вышел из тюрьмы, я еще сидела. Несмотря на чад, охватывающий человека по выходе из тюрьмы, на ряд заседаний, Владимир Ильич ухитрился все же написать письмишко о делах. Мама рассказывала, что он в тюрьме поправился даже и страшно весел.

Меня выпустили вскоре после „Ветровской истории“ (заключенная Ветрова сожгла себя в крепости) — тогда

[1]) 12 августа произошел новый провал: провалились почти все „старики“ и лучшие элементы из „петухов“.

жандармы выпустили целый ряд сидевших женщин, и оставили до окончания дела в Питере, приставив пару шпионов, ходивших всюду по стопам. Я застала организацию в самом плачевном состоянии. Из прежних работников остался только Степан Ив. Радченко и его жена. Сам он работы по конспиративным условиям уже вести не мог, но продолжал быть центром и держал связь. Держал связь и со Струве. Струве вскоре женился на Н. А. Герд, социал-демократке, он и сам в это время был социал-демократствующим. Он совершенно не был способен к работе в организации, тем более подпольной, но ему льстило, несомненно, что к нему обращаются за советами. Он даже написал манифест для 1-го съезда с.-д. раб. партии. Зиму 1897—1898 г. я довольно часто бывала у Струве с поручениями от Владимира Ильича— тогда Струве издавал „Новое Слово“— да и так с Ниной Александровной меня многое связывало. Я приглядывалась к Струве. Он в то время был искренним социал-демократом, но меня удивляла его книжность и почти полное отсутствие интереса к „живому дереву жизни“, интереса, которого так много было у Владимира Ильича. Струве достал мне перевод и взялся его редактировать. Он, видимо, тяготился этой работой, быстро уставал (с Владимиром Ильичем мы часами сидели за аналогичной работой, Владимир Ильич совсем иначе работал, весь уходя в работу, даже такую, как перевод). Для отдыха брал Струве читать Фета. Кто-то в воспоминаниях своих писал, что Владимир Ильич любил Фета. Это неверно. Фет — махровый крепостник, у которого не за что зацепиться даже, но вот Струве действительно любил Фета. К Владимиру Ильичу Струве в ту пору относился, несомненно, очень хорошо.

Знала я и Туган-Барановского. Я училась вместе с его женой, Лидией Карловной Давыдовой (дочерью издательницы „Божьего Мира“), и одно время захаживала к ним. Лидия Карловна была очень умная и хорошая, хотя и безвольная женщина. Она была умнее своего мужа. В его разговорах всегда чувствовался чужой человек. Раз я обратилась к нему с подписным листом на стачку (костромскую, кажется). Я получила сколько-то, не помню сколько, но должна была выслушать рассуждение на тему: „Непонятно-де, почему надо поддерживать стачки, — стачка недостаточно действительное средство борьбы с предпринимателями“. Я взяла деньги и поторопилась уйти.

Я писала Владимиру Ильичу обо всем, что приходилось видеть и слышать. Однако о работе организации мало о чем можно было писать. Ко времени съезда в ней было лишь четыре человека: Ст. Ив. Радченко, его жена, Любовь Николаевна Саммер и я. Делегатом от нас был Степан Иванович. Но, вернувшись со съезда, он очень мало что рассказал нам о том, что там делалось.

Мне дали три года Уфимской губернии, я перепросилась в село Шушенское, Минусинского у., где жил Владимир Ильич, для чего обьявилась его „невестой“.

1898—1901

В Минусинск, куда я ехала на свой счет, поехала со мной моя мать. Приехали мы в Красноярск первого мая 1898 г., оттуда надо было ехать на пароходе вверх по Енисею, но пароходы еще не ходили. В Красноярске познакомилась с народоправцем Тютчевым и его женой, которые, как люди опытные в этих делах, устроили мне свидание с проезжавшей через Красноярск партией социал-демократов; в их числе были товарищи по одному со мною делу — Ленгник и Сильвин. Солдаты, приведя ссыльных в фотографию, сели в сторонку и жевали хлеб с колбасой, которыми их угостили.

В Минусинске зашла к Аркадию Тыркову — поселенцу-первомартовцу, чтобы передать поклон от его сестры, моей гимназической подруги. Заходила к Ф. Я. Кону, который был для меня окружен ореолом старого непримиримого революционера,— ужасно он мне понравился.

В село Шушенское, где жил Владимир Ильич, мы приехали в сумерки; Владимир Ильич был на охоте. Мы выгрузились, нас провели в избу. В Сибири — в Минусинском округе — крестьяне очень чисто живут, полы устланы пестрыми самотканными дорожками, стены чисто выбелены и украшены пихтой. Комната Владимира Ильича была хоть невелика, но также чиста. Нам с мамой хозяева уступили остальную часть избы. В избу набились все

хозяева и соседи и усердно нас разглядывали и расспрашивали. Наконец, вернулся с охоты Владимир Ильич. Удивился, что в его комнате свет. Хозяин сказал, что это Оскар Александрович (ссыльный рабочий питерский) пришел пьяный и все книги у него разбросал. Ильич быстро взбежал на крыльцо. Тут я из избы вышла. Долго мы проговорили в ту ночь. Поправился Ильич, дышал прямо здоровьем.

В Шуше из ссыльных было только двое рабочих — лодзинский социал-демократ, шляпочник, поляк Проминский с женой и шестью ребятами и путиловский рабочий Энгберг, финн по национальности. Оба — очень хорошие товарищи. Проминский был спокойным, уравновешенным, но очень твердым человеком. Он мало читал и не много знал, но обладал замечательно ярко выраженным классовым инстинктом. К своей верующей тогда еще жене он относился спокойно-насмешливо, страстно любил охоту, по праздникам одевался в праздничную одежду и на лице его появлялась какая-то особенно сияющая улыбка. Он очень хорошо пел польские революционные песни „Ludu roboczy, poznaj swoje sily", „Pierwszy maj" [1]) и целый ряд других. Дети подпевали ему, присоединялся к хору и Владимир Ильич, очень охотно и много певший в Сибири. Пел Проминский и русские революционные песни, которым учил его Владимир Ильич. Проминский собирался назад в Польшу на работу и погубил несметное количество зайчишек, чтобы заготовить мех на шубки детям. Но добраться до Польши ему так и не удалось. Перебрался с семьей только поближе к Красноярску и служил на железной дороге. Дети выросли. Сам он стал коммунистом, коммунисткой стала пани Проминская, ком-

---

[1]) „Рабочий народ", „Первое мая".

мунистами стали дети. Один убит на войне. Другой чуть не погиб во время гражданской войны, теперь в Чите. В 1923 только году выбрался Проминский в Польшу, но по дороге умер от сыпного тифа.

Другой рабочий был совсем иного типа. Молодой, он был сослан за забастовку и за буйное поведение во время нее. Он много читал всякой всячины, но о социализме имел самое смутное представление. Раз приходит из волости и рассказывает: „Новый писарь приехал, сошлись мы с ним в убеждениях". — „То-есть?" — спрашиваю. „Да и он, и я против революции". Мы с Владимиром Ильичем так и ахнули. На другой день я засела с ним за „Коммунистический Манифест" (приходилось переводить с немецкого), и, одолев его, перешли к чтению „Капитала". Зашел как-то на занятия Проминский, сидит и посасывает трубочку. Я предлагаю какой-то вопрос по поводу прочитанного. Оскар не знает, что сказать, а Проминский спокойно так, улыбаючись, ответил на вопрос. На целую неделю бросил Оскар занятия. Ну, так парень хороший был. Больше ссыльных в Шушенском не было. Владимир Ильич рассказывал, что он пробовал завести знакомство с учителем, но ничего не вышло. Учитель тянул к местной аристократии: попу, паре лавочников. Дулись они в карты и выпивали. К общественным вопросам интереса у учителя никакого не было. С этим учителем постоянно препирался старший сын Проминского, Леопольд, тогда уже сочувствовавший социалистам.

Был у Владимира Ильича один знакомый крестьянин, которого он очень любил, Журавлев. Чахоточный, лет тридцати, Журавлев был раньше писарем. Владимир Ильич говорил про него, что он по природе революционер, протестант. Журавлев смело выступал против богатеев, не

мирился ни с какой несправедливостью. Он все куда-то уезжал и скоро помер от чахотки.

Другой знакомый Ильича был бедняк, с ним Владимир Ильич часто ходил на охоту. Это был самый немудрый мужичонка — Сосипатычем его звали, очень, впрочем, хорошо относившийся к Владимиру Ильичу и даривший ему всякую всячину: то журавля, то кедровых шишек.

Через Сосипатыча, через Журавлева Владимир Ильич изучал сибирскую деревню. Он мне рассказывал как-то об одном своем разговоре с зажиточным мужиком, у которого он жил. У того батрак украл кожу. Мужик накрыл его у ручья и прикончил. Говорил Ильич по этому поводу о беспощадной жестокости мелкого собственника, о беспощадной эксплоатации им батраков. И правда, как каторжные работали сибирские батраки, отсыпаясь только по праздникам.

И еще был у Ильича способ изучать деревню. По воскресеньям он завел у себя юридическую консультацию. Он пользовался большой популярностью, как юрист, так как помог одному рабочему, выгнанному с приисков, выиграть дело против золотопромышленника. Весть об этом выигранном деле быстро разнеслась среди крестьян. Приходили мужики и бабы и излагали свои беды. Владимир Ильич внимательно слушал и вникал во все, потом советовал. Раз пришел крестьянин за двадцать верст посоветоваться, как бы ему засудить зятя за то, что тот не позвал его на свадьбу, где здорово гуляли. „А теперь зять поднесет, если приедете к нему?“. „Теперь-то поднесет“. И Владимир Ильич чуть не час убил, пока уговорил мужика с зятем помириться. Иногда совершенно нельзя было разобраться по рассказам, в чем дело, и потому Владимир Ильич всегда просил приносить ему копию с дела. Раз бык какого-то богатея забодал корову мало-

мощной бабы. Волостной суд приговорил владельца быка заплатить бабе десять рублей. Баба опротестовала решение и потребовала „копию“ с дела. „Что тебе, копию с белой коровы, что ли?“— посмеялся над ней заседатель. Разгневанная баба прибежала жаловаться Владимиру Ильичу. Часто достаточно было угрозы обижаемого, что он пожалуется Ульянову, чтобы обидчик уступил.

Сибирскую деревню хорошо изучил Владимир Ильич,— он знал раньше деревню приволжскую. Рассказывал Ильич раз: „Мать хотела, чтобы я хозяйством в деревне занимался. Я начал, было, да вижу нельзя, отношения к мужикам ненормальные становятся“.

Собственно говоря, заниматься юридическими делами Владимир Ильич не имел права, как ссыльный, но тогда времена в Минусинском округе были либеральные. Никакого надзора фактически не было.

„Заседатель“—местный зажиточный крестьянин—больше заботился о том, чтобы сбыть нам телятину, чем о том, чтобы „его“ ссыльные не сбежали. Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое „жалованье“— восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья — и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь и для Владимира Ильича и для его собаки, прекрасного гордона — Женьки, которую он выучил и поноску носить, и стойку делать, и всякой другой собачьей науке. Так как у Зыряновых мужики часто напивались пьяными, да

и семейным образом жизнь там была во многих отношениях неудобна, мы перебрались вскоре на другую квартиру — полдома с огородом и двором наняли за четыре рубля. Зажили семейно. Летом никого нельзя было найти в помощь по хозяйству. И мы с мамой вдвоем воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по исподу. Потом привыкла. В огороде выросла у нас всякая всячина— огурцы, морковь, свекла, тыква; очень я гордилась своим огородом. Устроили из двора сад — съездили в лес, хмелю привезли, сад соорудили. Теперь,— пишут из Шушенского,— в доме этом ячейка РЛКСМ. Сад зарос, забор развалился, да и дом скоро развалится. В октябре появилась помощница, тринадцатилетняя Паша, худущая, с острыми локтями, живо прибравшая к рукам все хозяйство. Я выучила ее грамоте, и она украшала стены мамиными директивами—„никовды, никовды чай не выливай“, вела дневник, где отмечала: „были Оскар Александрович и Проминский. Пели „пень“, я тоже пела“.

Появился детский элемент. Во дворе жил поселенец— латыш-катанщик. Было у него 14 детей, но выжил один, Минька. Было Миньке шесть лет, было у него прозрачное бледное личико. Отец был горький пьяница. Ясные глазки и серьезный разговор. Стал он бывать у нас каждый день — не успеешь встать, а уж хлопает дверь, появляется маленькая фигурка в большой шапке, материной теплой кофте, закутанная шарфом, и радостно заявляет: „А вот и я“. Знает, что души в нем не чаяла моя мама, что всегда пошутит и повозится с ним Владимир Ильич. Забежит Минькина мать:

„Миничка, не видал ты рубля?“.

„Видел, ну, посмотрел, валяется на столе, положил в коробку“.

Когда мы уехали, захворал с горя Миняй. Теперь нет его уже в живых, а катанщик писал, просил отвести ему земли за Енисеем, „хочется на старости лет сытно пожить“.

Наше хозяйственное обрастание все увеличивалось — завели котенка.

С утра мы брались с Владимиром Ильичем за перевод Вебба, который достал мне Струве. После обеда часа два переписывали в две руки „Развитие капитализма“. Потом другая всякая работишка была. Как-то прислал Потресов на две недели книжку Каутского против Бернштейна, мы побросали все дела и перевели ее в срок — в две недели. Поработав, закатывались на прогулки; Владимир Ильич был страстным охотником, завел себе штаны из чортовой кожи и в какие только болота ни залезал. Ну, дичи там было! Я приехала весной, удивлялась. Придет Проминский и, радостно улыбаясь, говорит: „Видел — утки прилетели“. Приходит Оскар и тоже об утках. Часами говорили, а на следующую весну я сама уже стала способна толковать о том, где, кто, когда видел утку. После зимних морозов буйно пробуждалась весной природа. Сильна становилась власть ее. Вечер. Закат. На громадной весенней луже в поле плавают дикие лебеди. Или — стоишь на опушке леса, бурлит речонка, токуют тетерева. Владимир Ильич идет в лес, просит подержать Женьку. Держишь ее, Женька дрожит от волнения, и чувствуешь, как тебя захватывает это бурное пробуждение природы. Владимир Ильич был страстным охотником, только горячился очень. Осенью идем по далеким просекам. Владимир Ильич говорит: „Знаешь, если заяц встретится, не буду стрелять, ремня не взял, неудобно будет нести“. Выбегает заяц, Владимир Ильич палит.

Позднею осенью, когда по Енисею шла шуга (мелкий лед), ездили на острова за зайцами. Зайцы уже побелеют.

С острова деться некуда, бегают, как овцы, кругом. Целую лодку настреляют, бывало, наши охотники.

Живучи в Москве, Владимир Ильич тоже охотился иногда последние годы, но охотничий жар у него уж значительно поубыл. Устроили раз охоту на лис, с флажками. Все предприятие очень заинтересовало Владимира Ильича. „Хитро придумано“,—говорил он. Устроили охотники так, что лиса выбежала прямо на Владимира Ильича, а он схватился за ружье, когда лиса, постояв с минуту и поглядев на него, быстро повернула в лес.— „Что же ты не стрелял?“— „Знаешь, уж очень красива она была“.

Поздней осенью, пока не выпал еще снег, но уже замерзли реки, далеко ходили по протоке — каждый камешек, каждая рыбешка видны подо льдом, точно волшебное царство какое-то. А зимой, когда замерзает ртуть в градусниках и реки промерзают до дна, вода идет сверх льда и быстро покрывается ледком, можно было катить версты по две по гнущейся под ногами наледи. Все это страшно любил Владимир Ильич.

По вечерам Владимир Ильич обычно читал или книжки по философии — Гегеля, Канта, французских материалистов, а когда очень устанет — Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

Когда Владимир Ильич впервые появился в Питере и я его знала только по рассказам, слышала я от Степана Ивановича Радченко: Владимир Ильич только серьезные книжки читает, в жизнь не прочел ни одного романа. Я подивилась; потом, когда мы познакомились ближе с Владимиром Ильичем, как-то ни разу об этом не заходил у нас разговор, и только в Сибири я узнала, что все это чистая легенда. Владимир Ильич не только читал, но много раз перечитывал Тургенева, Л. Толстого, „Что

делать“ Чернышевского, вообще прекрасно знал и любил классиков. Потом, когда большевики стали у власти, он поставил Госиздату задачу — переиздание в дешевых выпусках классиков. В альбоме Владимира Ильича, кроме карточек родных и старых каторжан, были карточки Золя, Герцена и несколько карточек Чернышевского [1]).

Два раза в неделю приходила почта. Переписка была обширная.

Приходили письма и книги из России. Писала подробно обо всем Анна Ильинична, писали из Питера. Писала, между прочим, Нина Александровна Струве мне о своем сынишке: „уже держит головку, каждый день подносим его к портретам Дарвина и Маркса, говорим: поклонись дедушке Дарвину, поклонись Марксу, он забавно так кланяется“. Получали письма из далекой ссылки — из Туруханска от Мартова, из Орлова, Вятской губернии, от Потресова. Но больше всего было писем от товарищей, разбросанных по соседним селам. Из Минусинска (Шушенское было в 50 верстах от него) писали Кржижановские, Старков; в 30 верстах в Ермаковском жили Лепешинский, Ванеев, Сильвин, Панин — товарищ Оскара; в 70 верстах в Теси жили Ленгник, Шаповал, Барамзин, на сахарном заводе жил Курнатовский. Переписывались обо всем — о русских вестях, о планах на будущее, о книжках, о новых течениях, о философии. Переписывались и по шахматным делам, особенно с Лепешинским. Играли по переписке. Расставит шахматы Владимир Ильич и соображает. Одно время так увлекался, что вскрикивал даже во сне: „Если он конем сюда, то я турой туда“.

---

[1]) Чернышевского Владимир Ильич особенно любил. На одной из карточек Чернышевского имеется надпись рукой Владимира Ильича: родился тогда-то, умер в 1889 г.

И Владимир Ильич и Александр Ильич с детства играли с большим азартом в шахматы. Играл и отец Владимира Ильича. „Сначала отец нас обыгрывал,— рассказывал Владимир Ильич,— потом мы с братом достали руководство к шахматной игре и стали отца обыгрывать. Раз — мы наверху жили — встретил отца, идет из нашей комнаты со свечой в руке и несет руководство по шахматной игре. Затем за него засел".

По возвращении в Россию Владимир Ильич бросил игру в шахматы. „Шахматы чересчур захватывают, это мешает работе". А так как Владимир Ильич ничего не умел делать наполовину, не отдаваясь делу со всей страстью, то и на отдыхе и в эмиграции неохотно уже садился играть в шахматы.

Владимир Ильич с ранней молодости умел отбрасывать то, что мешало. „Когда был гимназистом — стал увлекаться коньками, но уставал, после коньков спать очень хотелось, мешало заниматься, бросил".

„Одно время,— рассказывал другой раз Владимир Ильич,— я очень увлекался латынью". „Латынью?" удивилась я.— „Да, только мешать стало другим занятиям, бросил". Недавно только, читая Леф, где разбирался стиль, строение речи Владимира Ильича, указывалось на сходство конструкции фразы у Владимира Ильича с конструкцией фраз римских ораторов — на сходство ораторских приемов, я поняла, почему мог увлекаться Владимир Ильич, изучая латинских писателей.

С товарищими по ссылке не только переписывались, иногда, хотя не часто, виделись.

Раз мы ездили к Курнатовскому. Был он очень хорошим товарищем, очень образованным марксистом, но тяжко сложилась его жизнь. Суровое детство с извергом отцом, потом ссылка за ссылкой, тюрьма за тюрьмой.

На воле почти не работал, через месяц — другой влетал на долгие годы, жизни не знал. Осталась в памяти одна сценка. Идем мимо сахарного завода, где он служил. Идут две девочки — одна постарше, другая маленькая. Старшая несет пустое ведро, младшая—со свеклой. „Как не стыдно, большая заставляет нести маленькую", сказал старшей девочке Курнатовский. Та только недоуменно посмотрела на него. Ездили мы еще в Тесь. Пришло как-то раз письмо от Кржижановских — „Исправник злится на тесинцев за какой-то протест и никуда не пускает. В Теси есть гора, интересная в геологическом отношении, напишите, что хотите ее исследовать". Владимир Ильич в шутку написал исправнику заявление, прося не только его пустить в Тесь, но в помощь ему и жену. Исправник прислал разрешение нарочным. Наняли двуколку с лошадью за три рубля — баба уверяла, что конь сильный, не „жоркий", овса ему мало надо — и покатили в Тесь. И хоть не „жоркий" конь стал у нас посередь дороги, но все же до Теси мы добрались. Владимир Ильич с Ленгником толковали о Канте, с Барамзиным — о казанских кружках, Ленгник, обладавший прекрасным голосом, пел нам; вообще от этой поездки осталось какое-то особенно хорошее воспоминание.

Ездили пару раз в Ермаковское. Раз для принятия резолюции по поводу „кредо" — Ванеев был тяжко болен туберкулезом, умирал. Его кровать вынесли в большую комнату, где собирались все товарищи. Резолюция была принята единогласно.

Другой раз ездили туда же, уже хоронить Ванеева.

Из „декабристов" (так в шутку называли товарищей, арестованных в декабре 1895 г.) двое скоро выбыли из строя; сошедший в тюрьме с ума Запорожец и тяжко захворавший там Ванеев погибли, когда только-только еще начинало разгораться пламя рабочего движения.

На новый год ездили в Минусу, куда съехались все ссыльные с.-д.

Были в Минусе и ссыльные народовольцы: Кон, Тырков и др., но они держались отдельно. Старики относились к социал-демократической молодежи недоверчиво: не верили в то, что это настоящие революционеры. На этой почве незадолго до моего приезда в село Шушенское в Минусинском уезде разыгралась ссыльная история. Был в Минусе ссыльный с.-д. Райчин, заграничник, связанный с группой „Освобождение Труда". Он решил бежать. Достали ему денег на побег, дня побега не было назначено. Но Райчин, получив деньги, пришел в очень нервное состояние, что, не предупредив никого, бежал. Старики-народовольцы обвиняли с.-д., что те знали о побеге Райчина, но их, стариков, не предупредили, могли быть обыски, а они не почистились. „История" росла, как снежный ком. Когда я приехала, Владимир Ильич рассказал мне про нее. „Нет хуже этих ссыльных историй,— говорил он,— они страшно затягивают, у стариков нервы больные, ведь чего только они ни пережили, каторгу перенесли. Нельзя давать засасывать себя таким историям — вся работа впереди, нельзя себя растрачивать на эти истории". И Владимир Ильич настаивал на разрыве со стариками. Помню собрание, на котором произошел разрыв. Решение о разрыве было принято раньше, надо было провести его по возможности безболезненно. Рвали потому́, что надо было порвать, но рвали без злобы, с сожалением. Так потом и жили врозь.

В общем, ссылка прошла неплохо. Это были годы серьезной учобы. По мере того, как приближался срок окончания ссылки, все больше и больше думал Владимир Ильич о предстоящей работе. Из России вести приходили скупо: там рос и креп экономизм, партии на деле не было,

типографии в России не было, попытка наладить издательство через Бунд не удалась. Между тем ограничиваться писанием популярных брошюр и не высказываться по основным вопросам ведения работы было более невозможно. В работе был величайший разброд, постоянные аресты делали невозможной всякую преемственность, люди договорились до „кредо“, до идей „Рабочей Мысли“, помещавшей корреспонденции распропагандированного экономистами рабочего, писавшего: „Не надо нам, рабочим, никаких Марксов и Энгельсов“...

Л. Толстой где-то писал, что едущий первую половину дороги обычно думает о том, что он оставил, а вторую — о том, что ждет его впереди. Так и в ссылке. Первое время больше подводились итоги прошлого. Во второй половине больше думается о том, что впереди. Владимир Ильич все пристальнее и пристальнее думал о том, что нужно делать, чтобы вывести партию из того состояния, в которое она пришла, что нужно делать, чтобы направить работу по надлежащему руслу, чтобы обеспечить правильное социал-демократическое руководство ею. С чего начать? В последний год ссылки зародился у Владимира Ильича тот организационный план, который он потом развил в „Искре“, в брошюре „Что делать“, в „Письме к товарищу“. Начать надо с организации общерусской газеты, поставить ее надо за границей, как можно теснее связать ее с русской работой, с российскими организациями, как можно лучше наладить транспорт. Владимир Ильич перестал спать, страшно исхудал. Бессонными ночами обдумывал он свой план во всех деталях, обсуждал его с Кржижановским, со мной, списывался о нем с Мартовым и Потресовым, сговаривался с ними о поездке за границу. Чем дальше, тем больше овладевало Владимиром Ильичем нетерпение, тем больше рвался он на работу.

А тут еще нагрянули с обыском. Перехватили у кого-то квитанцию письма к Владимиру Ильичу. В письме была речь о памятнике Федосееву, жандармы придрались к случаю, чтобы учинить обыск. Письмо они нашли, оно оказалось очень невинным, пересмотрели переписку — и тоже ничего интересного не нашли. По старой питерской привычке нелегальщину и нелегальную переписку мы держали особо. Правда, она лежала на нижней полке шкафа. Владимир Ильич подсунул жандармам стул, чтобы они начали обыск с верхних полок, где стояли разные статистические сборники — и они так умаялись, что нижнюю полку и смотреть не стали, удовлетворившись моим заявлением, что там лишь моя педагогическая библиотека. Обыск сошел благополучно, но боязно было, чтобы не воспользовались предлогом и не накинули еще несколько лет ссылки. Побеги были еще тогда не так обычны, как позднее, — во всяком случае, это бы осложнило дело. Ведь прежде, чем ехать за границу, нужно было провести большую организационную работу в России. Дело, однако, обошлось благополучно — срока не набавили.

В марте 1900 года, когда кончился срок ссылки Владимира Ильича, мы двинулись в Россию. Рекой по ночам разливалась Паша, ставшая за два года настоящей красавицей, Минька суетился, перетаскивая к себе домой остающуюся бумагу, карандаши, картинки и пр., приходил Оскар Александрович, садился на кончик стула, видимо, волновался, принес мне подарок — самодельную брошку, в виде книги с надписью „Карл Маркс“, в память моих занятий с ним по „Капиталу“, заглядывали то и дело в комнату хозяйка или соседка, недоумевала наша собака, что весь этот переполох должен означать, и ежеминутно отворяла носом все двери, чтобы удостовериться, все ли

на месте, кашляла мама, возясь с укладкой, деловито увязывал книги Владимир Ильич.

Доехали до Минусы, где мы должны были захватить с собой Старкова и Ольгу Александровну Сильвину. Там уж собралась вся наша ссыльная братия, было то настроение, которое бывает, когда кто-нибудь из ссыльных уезжает в Россию: каждый думал, когда-то и куда он сам поедет, как будет работать. Владимир Ильич договорился уже раньше о совместной работе со всеми, кто вскоре тоже ехал в Россию, договорился о переписке с остающимися. Думали о России, а говорили так, о всякой пустяковине.

Барамзин подкармливал бутербродами Женьку, которая оставалась ему в наследство, но она не обращала на него внимания, лежала у маминых ног и не сводила с нее глаз, следя за каждым ее движением.

Наконец, урядившись в валенки, дохи и проч., двинулись в путь. Ехали на лошади 300 верст по Енисею, день и ночь, благо луна светила во-всю. Владимир Ильич заботливо засупонивал меня и маму на каждой станции, осматривал, не забыли ли чего, шутил с озябшей Ольгой Александровной. Мчались во-всю, и Владимир Ильич — он ехал без дохи, уверяя что ему жарко в дохе, — засунув руки во взятую у мамы муфту, уносился мыслью в Россию, где можно будет поработать вволю.

В Уфе в день нашего приезда к нам пришла местная публика — А. Д. Цюрупа, Свидерский, Крохмаль. „Шесть гостиниц обошли... — заикаясь сказал Крохмаль, — наконец-то нашли вас“.

Пару дней пробыл Владимир Ильич в Уфе и, поговоривши с публикой и препоручив меня с мамой товарищам, двинулся дальше, поближе к Питеру. От этой пары дней у меня осталось в памяти лишь посещение старой наро-

доволки Четверговой, которую Владимир Ильич знал по Казани. В Уфе у ней был книжный магазин. Владимир Ильич в первый же день пошел к ней, и какая-то особенная мягкость была у него в голосе и лице, когда он разговаривал с ней. Когда потом я читала то, что Владимир Ильич написал в заключении в „Что делать“, я вспомнила это посещение. „Многие (речь идет о молодых руководителях рабочего движения, с.-д.) из них,— писал Владимир Ильич в „Что делать“,— начали революционно мыслить, как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными Народной Воле и которых молодые социал-демократы высоко уважали“. Этот абзац — кусок биографии Владимира Ильича.

Очень жаль было расставаться, когда только что начиналась „настоящая“ работа, но даже и в голову не приходило, что можно Владимиру Ильичу остаться в Уфе, когда была возможность перебраться поближе к Питеру.

Владимир Ильич поселился в Пскове, где жили потом и Потресов и Л. Н. Радченко с детьми. Как-то Владимир Ильич, смеясь, рассказывал, как малышки девочки Радченко, Женюрка и Люда, передразнивали его и Потресова. Заложив руки за спину, ходили по комнате рядом, одна говорила „Бернштейн“, другая отвечала „Каутский“...

Там, сидя в Пскове, усердно вил Владимир Ильич нити организации, которые должны были тесно связывать будущую заграничную общерусскую газету с Россией, с русской работой. Виделся с Бабушкиным, целым рядом других лиц.

Я понемногу акклиматизировалась в Уфе, устроилась с переводами, достала уроки.

Незадолго до моего приезда в Уфу там была ссыльная история, и с.-д. публика раскололась на два лагеря. В одном лагере были: Крохмаль, Цюрупа, Свидерский, в другом — братья Плаксины, Салтыков, Квятковский. Чачина и Аптекман стояли вне группировок, поддерживали отношения с обеими группами. Мне была ближе первая группа, с которой я скоро сблизилась. Эта группа вела кое-какую работу, вообще это была наиболее активная часть публики. Были связи с железнодорожными мастерскими. Там был кружок рабочих с.-д. в 12 человек. Самым активным был рабочий Якутов. Он не раз захаживал ко мне брать книжки и поговорить. Долго добивался „пульверизации“ Маркса, но, раздобыв ее, никак не мог прочесть. „Некогда, — жаловался он, — все, знаете, крестьяне ко мне со своими делами приезжают. С каждым надо поговорить, чтобы он худо о тебе не думал, ну вот и времени нет“. Он рассказывал, что его жена Наташа тоже ему сочувствует, и им никакая ссылка не страшна, он нигде не пропадет, руки везде его прокормят. Он был большой конспиратор, пуще всего ненавидел крик, хвастовство, большие слова. Надо все делать основательно, без шума, но прочно.

В пятом году Якутов был председателем республики, образовавшейся в Уфе, а потом, в годы реакции, его повесили в уфимской тюрьме. Он умирал на тюремном дворе, а вся тюрьма пела — во всех камерах пели — и клялась, что никогда не забудет его смерти, не простит ее.

Занималась я еще с другими рабочими — с молодым металлистом с небольшого заводика, рассказывавшим мне про жизнь местных рабочих, очень горячим и нервным. Потом мне говорили, что он ушел к эсерам и сошел с ума в тюрьме.

Бывал у меня чахоточный переплетчик Крылов, старательно устраивавший двойные переплеты, в которые можно было вкладывать нелегальные рукописи, склеивавший из рукописей картон для переплетов. Он рассказывал о работе местных печатников.

На основании этих рассказов позднее составлялись корреспонденции для „Искры".

Кроме самой Уфы, работа велась и по заводам. На Усть-Катавском заводе была фельдшерица социал-демократка, которая вела там работу среди рабочих, распространяла там нелегальную популярную литературу, которой нам чертовски нехватало.

Было несколько человек студентов с.-д. по заводам. Наша уфимская организация содержала в Екатеринбурге одного нелегала — рабочего Мазанова, вернувшегося из ссылки из Туруханска, где он был в ссылке вместе с Мартовым. Только работа у него что-то не ладилась.

Уфа была центром для губернии — ссыльные Стерлитамака, Бирска и др. уездных городов добивались всегда разрешения съездить в Уфу.

Но, кроме того, Уфа лежала на пути из Сибири в Россию. Возвращавшиеся из ссылки товарищи заезжали уславливаться о работе. Заезжал Мартов (ему не сразу удалось выбраться из Туруханска), Гл. Ив. Окулова, Панин. Из Астрахани нелегально приезжала Л. М. Книпович — „дяденька", из Самары приезжали — Румянцев, Португалов.

Мартов поселился в Полтаве. С ним была связь, через него надеялись получить литературу. Литература пришла, кажется, через неделю спустя после моего отъезда из Уфы, и отправившийся получить ее Квятковский угодил за этот развалившийся в дороге ящик на 5 лет в Сибирь. А работы он, в сущности, не вел, взялся за полу-

чение посылки только потому, что посылка была адресована на пивоваренный завод, дочери владельца которого он давал уроки.

Были в Уфе и народовольцы — Леонович, а позднее Бороздич.

Перед отъездом за границу Владимир Ильич чуть не влетел. Приехал из Пскова в Питер одновременно с Мартовым. Их выследили и арестовали. В жилетке у него было 2 тыс. руб., полученных от „тетки“, и записи связей с заграницей, писаные химией на листке почтовой бумаги, на которой для проформы было написано чернилами что-то безразличное — счет какой-то. Если бы жандармы догадались нагреть листок, не пришлось бы Владимиру Ильичу ставить за границей общерусскую газету. Но ему „пофартило“, и через дней десять его выпустили.

Потом он ездил ко мне в Уфу попрощаться. Он рассказывал о том, что ему удалось сделать за это время, рассказывал про людей, с которыми приходилось встречаться. Конечно, по случаю приезда Владимира Ильича был ряд собраний. Помню, как, когда выяснилось, что Леонович, считавший себя народовольцем, не знает даже по названию группы „Освобождение Труда“ — Владимир Ильич вскипел: „Да разве революционер может не знать этого, разве он может сознательно выбрать партию, с которой будет работать, если не знает, не изучит того, что писала группа „Освобождение Труда“.

Кажется, около недели прожил тогда в Уфе Владимир Ильич.

Из-за границы он писал мне преимущественно в книжках, отправляемых на адреса различных земцев. В общем дело шло с газетой не так быстро, как этого хотелось Владимиру Ильичу; трудно было столковаться с Плехановым, и письма Владимира Ильича из-за границы были

кратки, невеселы, кончались: „расскажу, когда приедешь“, „о конфликте с Плехановым подробно записал для тебя“.

Еле дождалась я конца ссылки, а тут и писем что-то от Владимира Ильича долго не было.

Хотела ехать в Астрахань, к „дяденьке“, да заторопилась.

Заезжали с мамой в Москву к Марии Александровне — матери Владимира Ильича. Она тогда одна в Москве была: Мария Ильинична сидела, Анна Ильинична была за границей.

Марию Александровну я очень любила, — она такая чуткая и внимательная была всегда. Потом, когда мы за границей жили, и она писала письма, всегда она писала нам письма вместе и никогда Владимиру Ильичу одному.

Мелочь это, но столько чуткости было в этой мелочи. Владимир Ильич страшно любил мать. „У ней громадная сила воли, — сказал он мне как-то, — если бы с братом это случилось, когда отец был жив, не знаю, что бы и было“.

Свою силу воли Владимир Ильич унаследовал от матери, унаследовал также и ее чуткость, внимание к людям.

Когда жили за границей, я старалась описать ей как можно живее нашу жизнь, чтобы почувствовала она хоть немного близость сына. Когда Владимир Ильич был в ссылке в 1897 г., в газетах было помещено объявление о смерти Марии Александровны Ульяновой, умершей в Москве. Оскар рассказывал: „Пришел к Владимиру Ильичу, а он бледный, как полотно — говорит: мать у меня умерла“. О смерти какой-то другой М. А. Ульяновой оказалось извещение.

Много горя выпало на долю Марии Александровны — казнь старшего сына, смерть дочери Ольги, бесконечные аресты других детей.

Заболел Владимир Ильич в 1895 году, она тотчас же приезжает и отхаживает его, сама готовит ему пищу; арестуют его — она опять на посту, часами просиживает в полутемной приемной Дома предварительного заключения, ходит на свидание, носит передачи, и только чуть-чуть дрожит у ней голова.

Обещала я ей беречь Владимира Ильича, да не уберегла...

Из Москвы отвезла я свою мать в Питер, устроила ее там, а сама покатила за границу. По-пошехонски ехала. Направилась в Прагу, полагая, что Владимир Ильич живет в Праге под фамилией Модрачек.

Дала телеграмму. Приехала в Прагу — никто не встречает. Подождала-подождала. С большим смущением наняла извозчика в цилиндре, нагрузила на него свои корзины, поехали. Приезжаем в рабочий квартал, узкий переулок, громадный дом, из окон которого во множестве торчат проветривающиеся перины...

Лечу на четвертый этаж. Дверь отворяет беленькая чешка. Я твержу: „Модрачек, герр Модрачек“. Выходит рабочий, говорит: „Я — Модрачек“. Ошеломленная я мямлю: „Нет, это мой муж“. Модрачек, наконец, догадывается. „Ах, вы, вероятно, жена герра Ритмейера, он живет в Мюнхене, но пересылал вам в Уфу через меня книги и письма“. Модрачек провозился со мной целый день, я ему рассказала про русское движение, он мне про австрийское, жена его показывала мне связанные ею прошивки и кормила чешскими клецками.

Приехав в Мюнхен — ехала я в теплой шубе, а в это время в Мюнхене уж в одних платьях все ходили, — наученная опытом, сдала корзины на хранение на вокзале, поехала в трамвае разыскивать Ритмейера. Отыскала дом, квартира № 1-й оказалась пивной. Подхожу к стойке, за

которой стоял толстенный немец, и робко спрашиваю господина Ритмейера, предчувствуя, что опять что-то не то. Трактирщик отвечает: „Это — я“. Совершенно убитая, я лепечу: „Нет, это мой муж“.

И стоим дураками друг против друга. Наконец, приходит жена Ритмейера и, взглянув на меня, догадывается: „Ах, это верно жена герра Мейера, он ждет жену из Сибири. Я провожу“.

Иду куда-то за фрау Ритмейер на задний двор большого дома, в какую-то необитаемую квартиру. Отворяется дверь, сидят за столом: Владимир Ильич, Мартов и Анна Ильинична. Забыв поблагодарить хозяйку, я стала ругаться: „Фу, чорт, что ж ты не написал, где тебя найти?“

„Как не написал? Я тебя по три раза на день ходил встречать. Откуда ты?“ Оказалось потом, что земец, на имя которого была послана книжка с адресом, зачитал книжку.

Немало россиян путешествовали потом в том же стиле: Шляпников заехал в первый раз вместо Женевы в Геную; Бабушкин вместо Лондона чуть не угодил в Америку.

1901 — 1902.

Хотя и Владимир Ильич, и Мартов, и Потресов поехали за границу по легальным паспортам, но в Мюнхене было решено жить по чужим паспортам, вдали от русской колонии, чтобы не проваливать приезжающих из России работников и легче отправлять нелегальную литературу в Россию в чемоданах, письмах и пр.

Когда я приехала в Мюнхен, Владимир Ильич жил без прописки у этого самого Ритмейера, назывался Мейером. Хотя Ритмейер и был содержателем пивной, но был социал-демократом и укрывал Владимира Ильича в своей квартире. Комнатешка у Владимира Ильича была плохенькая, жил он на холостецкую ногу, обедал у какой-то немки, которая угощала его Mehlspeise [1]). Утром и вечером пил чай из жестяной кружки, которую сам тщательно мыл и вешал на гвоздь около крана.

Вид у него был озабоченный, все налаживалось не так быстро, как хотелось. В то время в Мюнхене, кроме Владимира Ильича, жили: Мартов, Потресов и Засулич. Плеханову и Аксельроду хотелось, чтобы газета выходила где-нибудь в Швейцарии, под их непосредственным руководством. Они, в первое время и Засулич, не придавали особого значения „Искре“, совершенно недооценивали той

---

[1]) Mehlspeise — мучное блюдо.

организаторской роли, которую она могла сыграть и сыграла; их гораздо больше интересовала „Заря“.

„Глупая ваша „Искра“, — говорила вначале шутя Вера Ивановна. Это, конечно, была шутка, но в ней сквозила известная недооценка всего предприятия. Владимир Ильич думал, что надо, чтобы „Искра“ была в стороне от эмигрантского центра, чтобы она была законспирирована, что имело громадное значение для сношений с Россией, для переписки, для приездов. Старики готовы были видеть в этом нежелание перенести газету в Швейцарию, нежелание руководства, желание вести какую-то свою линию, и не торопились особенно помогать. Владимир Ильич это чувствовал и нервничал. К группе „Освобождение Труда“ у него было совсем особенное чувство. Я не говорю уже про Плеханова, он относился влюбленно и к Аксельроду и к Засулич. „Вот ты увидишь Веру Ивановну, — сказал мне Владимир Ильич в первый вечер моего приезда в Мюнхен, — это кристалльно-чистый человек“. Да, это была правда.

Вера Ивановна одна из группы „Освобождение Труда“ стала близко к „Искре“. Она жила вместе с нами в Мюнхене и в Лондоне, жила жизнью редакции „Искры“, ее радостями и горестями, жила вестями из России.

„А „Искра“-то важная становится“, шутила она по мере того, как росло и ширилось влияние „Искры“. Вера Ивановна рассказывала не раз про долгие холодные годы эмиграции. Мы никогда такой эмиграции, как группа „Освобождение Труда“, не знавали — у нас все время были самые тесные связи с Россией, постоянно к нам приезжали оттуда люди. Мы жили в эмиграции в гораздо лучших условиях по части осведомленности, чем в другом губернском городе, жили исключительно интересами русской работы, дело в России шло на подъем, рабочее дви-

жение росло. Группа „Освобождение Труда“ жила от России оторванно, жила за границей в годы глухой реакции — заезжий из России студент был уже целым событием, но заезжать опасались.

Когда к ним в начале 90-х годов заехали Классон и Коробко, их тотчас же по возвращении вызвали в жандармское, спрашивали, зачем ездили к Плеханову. Слежка была организована образцово. Из всех членов группы „Освобождение Труда“ Вера Ивановна чувствовала себя наиболее одиноко. У Плеханова и Аксельрода была все же семья. Вера Ивановна говорила не раз о своем одиночестве: „Близких никого нет у меня“, и тотчас старалась прикрывать горечь своих переживаний шуточкой: „Ну вот, вы меня любите, я знаю, а когда умру, разве что одной чашкой чаю меньше выпьете“.

Потребность же в семье у ней была громадная — может быть, потому, что выросла она в чужой семье, была на положении „воспитанницы“. Надо было только видеть, как любовно она возилась с беленьким малышом, сынишкой Димки (сестры П. Г. Смидовича). Даже хозяйственность Вера Ивановна проявляла, заботливо покупала провизию в те дни, когда была ее очередь варить обед в коммуне (в Лондоне Вера Ивановна, Мартов и Алексеев жили коммуной). Впрочем, мало кто догадывался о семейственных и хозяйственных склонностях Веры Ивановны. Жила она по-нигилистячему — одевалась небрежно, курила без конца, в комнате ее царил невероятный беспорядок, убирать своей комнаты она никому не разрешала. Кормилась довольно фантастически. Помню, как она раз жарила себе мясо на керосинке, отстригала от него кусочки ножницами и ела.

„Когда я жила в Англии, — рассказывала она, — выдумали меня английские дамы разговорами занимать“. „Вы

сколько времени мясо жарите?". „Как придется, отвечаю; если есть хочется, минут десять жарю, а не хочется есть — часа три". Ну, они и отстали".

Когда Вера Ивановна писала, она запиралась в своей комнате и питалась одним крепким черным кофе.

По России Вера Ивановна тосковала страшно. Кажется, в 1899 году она ездила нелегально в Россию — не на работу, а так, „хоть мужика посмотреть, какой у него нос стал". И вот, когда стала выходить „Искры", она почувствовала, что это кусок русской работы, она судорожно за нее держалась. Для нее уйти из „Искры" — значило опять оторваться от России, опять начать тонуть в мертвой, тянущей ко дну эмигрантщине.

Вот почему, когда на втором съезде встал вопрос о редакции „Искры", она возмутилась. Для нее это был не вопрос самолюбия, это был вопрос жизни и смерти.

В пятом году она поехала в Россию и там осталась.

На втором съезде Вера Ивановна в первый раз в жизни пошла против Плеханова. С Плехановым ее соединяли долгие годы совместной борьбы, она видела, какую громадную роль он играл в деле направления революционного движения в правильное русло, ценила его как основоположника русской социал-демократии, ценила его ум, блестящий талант. Самое незначительное несогласие с Плехановым страшно волновало ее, но в данном случае она не пошла с Плехановым.

Судьба Плеханова трагична. В области теории его заслуги перед рабочим движением чрезвычайно велики. Но годы эмиграции не прошли для него даром, — они оторвали его от русской действительности. Широкое массовое рабочее движение возникло в то время, когда он уже был за границей. Он видел представителей различных партий, писателей, студентов, даже отдельных рабочих,

но русской рабочей массы он не видел, с ней не работал, ее не чувствовал. Бывало, придет какая-нибудь корреспонденция из России, которая поднимает завесу над новыми формами движения, заставляет почувствовать перспективы движения, Владимир Ильич, Мартов и даже Вера Ивановна читают и перечитывают ее; Владимир Ильич потом долго шагает по комнате, вечером не может заснуть. Когда мы переехали в Женеву, я пробовала показывать Плеханову корреспонденции и письма, и удивляло меня, как он на них реагировал: точно почву он под ногами терял, недоверие у него какое-то появлялось на лице, никогда не говорил он потом об этих письмах и корреспонденциях.

Особенно недоверчиво стал он относиться к письмам из России после 2-го съезда.

Меня это вначале даже обижало как-то, а потом стала думать, что это вот отчего: давно он уже уехал из России, и не было у него того мерила, вырабатываемого опытом, которое дает возможность определить удельный вес каждой корреспонденции, читать многое между строк.

Приезжали часто в „Искру“ рабочие, каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам или Мартову, но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражали блестящий ум Плеханова, его знания, его остроумие, но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние между собой и этим блестящим теоретиком, но о своем заветном, о том, о чем он хотел рассказать, с ним посоветоваться, — он так и не смог поговорить.

А если рабочий не соглашался с Плехановым, пробовал изложить свое мнение, — Плеханов начинал раз-

дражаться: „Еще ваши папеньки и маменьки под столом ходили, когда я...“

Вероятно, в первые годы эмиграции это не так было, но к началу 900-х годов Плеханов потерял уже непосредственное ощущение России. В 1905 году он в Россию не ездил.

Павел Борисыч Аксельрод в гораздо большей степени, чем Плеханов и Засулич, был организатором. На нем больше лежало общения с приезжими, у него они больше всего проводили время, там их поили, кормили, Павел Борисыч подробно их обо всем расспрашивал.

Он вел переписку с Россией, знал конспиративные способы сношений. Ну, как мог себя чувствовать в долгие годы эмиграции в Швейцарии русский организатор-революционер, можно себе представить! Павел Борисыч на три четверти потерял работоспособность, он не спал ночей напролет, писал с чрезвычайным напряжением месяцами, будучи не в состоянии окончить начатой статьи, почерк его было почти невозможно разобрать: так нервно он писал.

Почерк Аксельрода производил на Владимира Ильича всегда сильное впечатление. „Вот дойдешь до такого состояния, как Аксельрод, — не раз говорил Владимир Ильич, — ведь это просто ужас один“. О почерке Аксельрода он не раз говорил с доктором Крамером, который лечил его во время его последней болезни. Когда Владимир Ильич первый раз ездил за границу, об организационных вопросах он больше всего толковал с Аксельродом. Об Аксельроде он много рассказывал мне, когда я приехала в Мюнхен. О том, что делает теперь Аксельрод, он спрашивал меня, указывая на фамилию Аксельрода в газете, тогда, когда сам уже не только не мог писать, но и сказать ни слова.

П. Б. Аксельрод особенно болезненно относился к тому, что „Искра“ издается не в Швейцарии и что поток сношений с Россией идет не через него. Потому так бешено отнесся он к вопросу о тройке на 2-м съезде. „Искра“ будет организационным центром, а он отстраняется от редакции! И это тогда, когда на 2-м съезде больше, чем когда-либо, почувствовалось дыхание России.

Когда я приехала в Мюнхен, из группы „Освобождение Труда“ там жила только Засулич под чужим именем— по какому-то болгарскому паспорту, звалась Великой Дмитриевной.

По болгарским паспортам должны были жить и все остальные. До моего приезда Владимир Ильич жил просто без паспорта. Когда я приехала, взяли паспорт какого-то болгарина, д-ра Иорданова, вписали туда ему жену Марицу и поселились в комнате, нанятой по объявлению в рабочей семье. До меня секретарем „Искры“ была Инна Гермогеновна Смидович-Леман, также жившая по болгарскому паспорту и звавшаяся Димкой. Владимир Ильич, когда я приехала, рассказал, что он провел, что секретарем „Искры“ буду я, когда приеду. Это, конечно, означало, что связи с Россией будут вестись все под самым тесным контролем Владимира Ильича. Мартов и Потресов тогда ничего не имели против этого, а группа „Освобождение Труда“ не имела своего кандидата, да и не придавала в то время „Искре“ особого значения. Владимир Ильич рассказывал, что ему это было не очень ловко делать, но он считал, что для дела это необходимо. Работы сейчас же навалилась масса. Дело было организовано так: письма из России посылались на различные города Германии по адресам немецких товарищей, а те все пересылали на адрес доктора Лемана, который все уже пересылал нам.

Незадолго перед тем вышла целая история. В России для брошюр удалось, наконец, наладить в Кишиневе типографию, и заведующий типографией Аким (брат Либера — Леон Гольдман) выслал на адрес Лемана подушку с зашитыми в середину экземплярами вышедшей в России брошюры. Удивленный Леман в недоумении отказался на почте от подушки, но, когда наши это узнали и забили тревогу, подушку он получил и сказал, что теперь будет принимать все, что на его имя придет, хоть целый поезд.

Транспорта для перевозки „Искры“ в Россию еще не было. „Искра“ перевозилась главным образом в чемоданах с двойным дном с разными попутчиками, которые отвозили в Россию эти чемоданы в условленное место, на явки.

Была такая явка в Пскове у Лепешинских, была в Киеве, еще где-то. Русские товарищи, вынув литературу из чемодана, передавали ее организации. Транспорт только что налаживался через латышей Ролау и Скубика.

На все это тратилось немало времени. Его также уходило много на всякие переговоры, из которых потом ничего не выходило.

Помню, как с неделю, кажется, ушло на переговоры с каким-то типом, который хотел завязывать связи с контрабандистами, путешествуя по границе с фотографическим инструментом, каковой мы должны были ему купить.

Была переписка с агентами „Искры“ в Берлине, Париже, Швейцарии, Бельгии. Они помогали, чем могли, отыскивая соглашающихся брать чемоданы, добывая деньги, связи, адреса и т. д.

В октябре 1901 г. образовалась из сочувствующих групп так называемая „Заграничная Лига русской революционной социал-демократии“.

Связи с Россией очень быстро росли. Одним из самых активных корреспондентов „Искры“ был питерский рабочий Бабушкин, с которым Владимир Ильич виделся перед отъездом из России и сговорился о корреспондировании. Он присылал массу корреспонденций из Орехово-Зуева, Владимира, Гуся-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Кохмы, Кинешмы.

Он постоянно объезжал эти места и укреплял связи с ними. Писали из Питера, Москвы, с Урала, с Юга. Вели переписку с Северным Союзом. Скоро приехал из Иваново-Вознесенска представитель Союза, Носков. Более российский тип трудно было себе представить. Голубоглазое блондинистое лицо, немного сутулый, он говорил на „о“. Приехал он за границу с узелком договориться обо всем. Его дядюшка, мелкий фабрикант в Иваново-Вознесенске, дал ему денег на поездку за границу, чтобы только избавиться от беспокойного племянника, которого то забирали в каталажку, то обыскивали. Борис Николаевич (от природы он назывался Владимиром Александровичем, а это была его кличка) был хорошим практиком. Я его встречала еще в Уфе, когда он заезжал туда проездом в Екатеринбург. За границу он приехал за „связями“. Собирание связей было его профессией. Помню, как он, усевшись на плиту в нашей узенькой мюнхенской кухне, с блестящими глазами рассказывал нам о работе Северного Союза. Рассказывая, страшно увлекался. Владимир Ильич своими вопросами только подливал масла в огонь. Борис — пока жил за границей — завел тетрадь, куда тщательно записывал все связи: где кто живет, что делает, чем может быть полезен. Потом оставил нам эти связи. Это был своеобразный поэт-организатор. Впрочем, он слишком идеализировал людей и работу, и не было у него уменья бесстрашно смотреть действи-

тельности в глаза. После 2-го съезда он был примиренцем, а потом как-то сошел с политической сцены. В годы реакции он умер.

Приезжали в Мюнхен и другие, еще до моего приезда был в Мюнхене Струве. С ним дело в это время шло уже на разрыв. Он переходил в это время из стана социал-демократии в стан либералов. В последний приезд с ним было резкое столкновение. Вера Ивановна подшила ему прозвище „подкованный теленок“. Владимир Ильич и Плеханов ставили над ним крест. Вера Ивановна считала, что он еще не безнадежен. Ее и Потресова звали в шутку „Struve freundliche Partei“ [1]).

Приезжал Струве второй раз, когда я уже была в Мюнхене. Владимир Ильич отказался его видеть. Я ходила видеться со Струве на квартиру Веры Ивановны. Свидание было очень тяжелое. Струве был страшно обижен. Пахнуло какой-то тяжелой достоевщиной. Он говорил о том, что его считают ренегатом и еще что-то в том же роде, издевался над собой. Сейчас я уже не помню того, что он говорил, помню только то тяжелое чувство, с каким я шла с этого свидания. Было ясно, это — чужой, враждебный партии человек. Владимир Ильич был прав. Потом с кем-то, не помню уже с кем, жена Струве Нина Александровна прислала привет и коробку мармелада. Она была бессильна, да и вряд ли понимала, куда повертывает Петр Бернгардович. Он-то понимал.

Поселились мы после моего приезда в рабочей немецкой семье. У них была большая семья — человек шесть. Все они жили в кухне и маленькой комнатушке. Но чистота была страшная, детишки ходили чистенькие, вежливые. Я решила, что надо перевести Владимира Ильича

---

1) Дружественная Струве партия.

на домашнюю кормежку, завела стряпню. Готовила на хозяйской кухне, но приготовлять надо было все у себя в комнате. Старалась как можно меньше греметь, так как Владимир Ильич в это время начал уже писать „Что делать“. Когда он писал, он ходил обычно быстро из угла в угол и шопотком говорил то, что собирался писать. Я уже приспособилась к этому времени к его манере работать. Когда он писал, ни о чем уж с ним не говорила, ни о чем не спрашивала. Потом, на прогулке, он рассказывал, что он пишет, о чем думает. Это стало для него такой же потребностью, как шопотком проговорить себе статью, прежде чем ее написать. Бродили мы по окрестностям Мюнхена весьма усердно, выбирая места подиче, где меньше народа.

Через месяц перебрались на собственную квартиру в предместье Мюнхена „Швабинг“, в один из многочисленных, только что отстроенных больших домов, завели „обстановочку“ (при отъезде продали ее всю за 12 марок) и зажили по-своему.

В начале первого — после обеда — приходил Мартов, подходили и другие, шло так называемое заседание „редакции“. Мартов говорил не переставая, при чем постоянно перескакивал с одной темы на другую. Он массу читал, откуда-то узнавал всегда целую кучу новостей, знал всех и вся. „Мартов — типичный журналист,— говорил про него не раз Владимир Ильич,— он чрезвычайно талантлив, все как-то хватает на лету, страшно впечатлителен, но ко всему легко относится“. Для „Искры“ Мартов был прямо незаменим. Владимир Ильич страшно уставал от этих ежедневных 5—6-часовых разговоров, делался от них совершенно болен, неработоспособен. Раз он попросил меня сходить к Мартову и попросить его не ходить к нам. Условились, что я буду ходить к Мар-

тову, рассказывать ему о получаемых письмах, договариваться с ним. Из этого, однако, ничего не вышло, через два дня дело пошло по-старому. Мартов не мог жить без этих разговоров. После нас он шел с Верой Ивановной, Димкой, Блюменфельдом [1]) в кафе, где они просиживали целыми часами.

Потом приехал Дан с женой и детьми. Мартов стал проводить у них целые дни.

В октябре мы ездили из Мюнхена в Цюрих объединяться с „Рабочим Делом“. Объединения никакого не вышло. Акимов, Кричевский и другие договорились до белых слонов. Мартов страшно горячился, выступая против рабочедельцев, даже галстух с себя сорвал, я первый раз видела его таким. Плеханов блистал остроумием. Составили резолюцию о невозможности объединения. Деревянным голосом прочел ее на конференции Дан. „Папский нунций“,— бросили ему противники.

Этот раскол пережит был совсем безболезненно. Мартов, Ленин не работали вместе с „Рабочим Делом“, в сущности, разрыва не было, потому что не было совместной работы. Плеханов же был в отличном настроении, ибо противник, с которым ему приходилось так много бороться, был положен на обе лопатки. Плеханов был весел и разговорчив.

Жили мы в одном отеле, кормились вместе, и время прошло как-то особенно хорошо.

---

1) Блюменфельд набирал „Искру“ сначала в Лейпциге, потом в Мюнхене в немецких социал-демократических типографиях. Он был отличным наборщиком и хорошим товарищем. К делу относился горячо. Он очень любил Веру Ивановну, всегда очень заботился о ней. С Плехановым он не ладил. Это был товарищ, на которого можно было вполне положиться: за что возьмется — сделает.

Только иногда чуть, капельку проскальзывала разница в подходах к некоторым вопросам.

Запомнился один разговор. В кафе, в котором мы сидели, рядом с нашей комнатой был гимнастический зал, как раз там шло упражнение в фехтовании. Рабочие, вооруженные щитами, сражались, скрещивая картонные мечи. Плеханов посмеялся: „Вот и мы в будущем строе будем так сражаться“. Когда мы возвращались домой, я шла с Аксельродом — он продолжал развивать тему, заде-тую Плехановым: „В будущем строе будет смертельная скука, никакой борьбы не будет“.

В то время я еще была до дикости застенчива и ничего не сказала, но, помню, как-то обиделась за будущий строй.

Вернувшись из Цюриха, Владимир Ильич засел за окончание „Что делать“. После меньшевики яростно нападали на „Что делать“, но в то время оно всех захватило, особенно тех, кто ближе стоял к русской работе. Вся брошюра была страстным призывом к организации, она набрасывала широкий план организации, в которой каждый мог найти себе место, мог сделаться винтиком революционной машины, винтиком, без которого не может пойти работа, как бы мал он ни был. Брошюра звала к упорной, неустанной работе над созданием того фундамента, который надо было создать для того, чтобы при тогдашних русских условиях могла существовать партия не на словах, а на деле. „Нельзя социал-демократу бояться долгой работы, надо работать, работать, непокладая рук, быть всегда готовым на все, начиная от спасенья чести, престижа и преемственности партии в момент наибольшего революционного „угнетения“ и кончая подготовкой, назначением и проведением всенародного вооруженного восстания“, писал Владимир Ильич в „Что делать“.

Двадцать четыре года прошло с тех пор, как написана эта брошюра, и каких двадцать четыре года,—в корне изменились все условия работы партии, совсем новые задачи стоят перед рабочим движением, а и сейчас захватывает революционный пафос этой брошюры и сейчас надо изучать эту брошюру тому, кто хочет не на словах, а на деле быть ленинцем.

Если „Друзья Народа“ имели громадное значение для определения пути, по которому должно итти революционное движение, то „Что делать“ определяло план широкой революционной работы, указывало определенное дело.

Ясно было, что съезд партии еще преждевременен, что нет еще предпосылок для того, чтобы он не повис в воздухе, как повис 1-й съезд, что нужна длительная подготовительная работа. Поэтому никто не отнесся серьезно к попытке созыва Бундом съезда в Белостоке. От „Искры“ поехал туда Дан, захватив чемодан, между стенками которого было набито „Что делать“. Белостокский съезд превратился в конференцию.

„Искра“ работала во-всю. Ее влияние росло. Готовилась к съезду программа партии. Для обсуждения ее приехали в Мюнхен Плеханов и Аксельрод. Плеханов нападал на некоторые места наброска программы, сделанного Лениным. Вера Ивановна не во всем была согласна с Лениным, но не была согласна до конца и с Плехановым. Аксельрод соглашался тоже кое в чем с Лениным. Заседание было тяжелое. Вера Ивановна хотела возражать Плеханову, но тот принял неприступный вид и, скрестив руки, так глядел на нее, что Вера Ивановна совсем запуталась. Дело дошло до голосования. Перед голосованием Аксельрод, соглашавшийся в данном вопросе с Лениным, заявил, что у него разболелась голова, и он хочет прогуляться.

Владимир Ильич ужасно волновался. Так нельзя работать. Какое же это деловое обсуждение?

Необходимость построить работу на деловых основах, так, чтобы не привносился в нее личный элемент, чтобы капризы, исторически сложившиеся личные отношения не влияли на решение,— встала во весь рост.

Владимир Ильич крайне болезненно относился ко всякой размолвке с Плехановым, не спал ночи, нервничал. А Плеханов сердился, дулся.

Прочитав статью Владимира Ильича к четвертому номеру „Зари“, Плеханов вернул ее Вере Ивановне с примечаниями на полях, вылив в них всю свою досаду. Владимир Ильич, увидав их, совершенно выбился из колеи, заметался.

К этому времени выяснилось, что печатать „Искру“ в Мюнхене далее невозможно, владелец типографии не хотел рисковать. Надо было выбираться. Куда? Плеханов и Аксельрод стояли за Швейцарию, остальные — понюхав атмосферы, развернувшейся на заседании при обсуждении программы, — голосовали за Лондон.

Этот мюнхенский период вспоминался нам после как какой-то светлый период. Последующие годы эмиграции переживались куда тяжелее. В мюнхенский период не было еще такой глубокой трещины в личных отношениях между Владимиром Ильичем, Мартовым, Потресовым и Засулич. Все силы сосредоточивались на одной цели — создании общерусской газеты, интенсивно шло собирание сил около „Искры“. Ощущение роста организации, осознание того, что путь к созданию партии намечен правильно, было у всех.

Поэтому можно было не внешне, а от всей души веселиться на карнавале, возможно было то исключительное жизнерадостное настроение, которое было всеобщим при поездке в Цюрих, и т. д.

Мест ая жизнь не привлекала нашего особенного внимания. Мы наблюдали ее со стороны. Бывали иногда на собраниях, но в общем они были мало интересны. Помню празднование 1 мая. В том году в первый раз немецкой социал-демокр тии разрешено было устроить шествие, но с тем, чтобы не скопляться в городе, а устроить празднество за городом.

И вот довольно большие колонны немецких социал-демократов, с женами и детьми и редьками в карманах, молча, очень быстрым шагом прошли по городу — пить пиво в загородном ресторане. Этот „Maifeier“ [1]) не напоминал совершенно демонстрации во имя торжества рабочего класса во всем мире.

Так как мы соблюдали сугубую конспирацию, то совершенно не виделись с немецкими товарищами. Встречались только с Парвусом, жившим неподалеку от нас, в Швабинге, с женой и сынишкой. Однажды приезжала к нему Роза Люксембург, и Владимир Ильич ходил тогда повидаться с ней. Тогда Парвус, занимая очень левую позицию, сотрудничал в „Искре“, интересовался русскими делами.

В Лондон мы ехали через Льеж. В то время там жил Николай Леонидович Мещеряков с женой, — мои старые приятели по воскресной школе. В те времена, когда я его знала, он был еще народовольцем, но он первый ввел меня в нелегальную работу, первый обучал правилам конспирации и помог мне сделаться социал-демократкой, усердно снабжая меня заграничными изданиями группы „Освобождение Труда“.

Теперь он был социал-демократом, давно уже жил в Бельгии, прекрасно знал местное движение, и мы решили по дороге заехать к ним.

---

[1]) Майский праздник.

В это время в Льеже было как раз громадное возбуждение. За несколько дней перед тем войска стреляли в бастовавших рабочих. Заметно было, как волнуются рабочие кварталы, по лицам рабочих, по кучкам стоявших людей. Ходили мы смотреть Народный дом. Он стоит в очень неудобном месте, толпу легко запереть на площади перед домом, как в ловушке. Рабочие тянулись к Народному дому. И вот, чтобы предупредить скопление там народа, партийные верхи назначили собрания по всем рабочим кварталам. И мелькало недоверие к бельгийским вождям социал-демократии. Получалось какое-то разделение труда: одни стреляют в толпу, другие ищут предлога ее успокоить...

ЖИЗНЬ В ЛОНДОНЕ

I

Лондон поразил нас своей грандиозностью. И хоть была в день нашего приезда невероятная мразь, но у Владимира Ильича лицо сразу оживилось, и он с любопытством стал вглядываться в эту твердыню капитализма, забыв на время и Плеханова и конфликты в редакции.

На вокзале нас встретил Николай Александрович Алексеев—товарищ, живший в Лондоне в эмиграции и прекрасно изучивший английский язык. Он был вначале нашим поводырем, так как мы оказались в довольно-таки беспомощном состоянии. Думали, что знаем английский язык, так как в Сибири перевели даже с английского на русский целую толстенную книгу — Веббов. Я английский язык в тюрьме учила по самоучителю, никогда ни одного живого английского слова не слыхала. Стали мы в Шушенском Вебба переводить — Владимир Ильич пришел в ужас от моего произношения: „У сестры была учительница, так она не так произносила“. Я спорить не стала, переучилась. Когда приехали в Лондон, оказалось — ни мы ни черта не понимаем, ни нас никто не понимает. Попадали мы вначале в прекомичные положения. Владимира Ильича это забавляло, но в то же время задевало за живое. Он принялся усердно изучать язык. Стали мы ходить по всяческим собраниям, забираясь в первые ряды и внимательно

глядя в рот оратору. Ходили мы вначале довольно часто в Гайд-Парк. Там выступают ораторы перед прохожими,— кто о чем. Стоит атеист и доказывает кучке любопытных, что бога нет,—мы особенно охотно слушали одного такого оратора, он говорил с ирландским произношением, нам более понятным. Рядом офицер из „Армии Спасения“ выкрикивает истерично слова обращения к всемогущему богу, а немного поодаль приказчик рассказывает про каторжную жизнь приказчиков больших магазинов... Слушание английской речи давало многое. Потом Владимир Ильич раздобыл через объявления двух англичан, желавших брать обменные уроки, и усердно занимался с ними. Изучил он язык довольно хорошо.

Изучал Владимир Ильич и Лондон. Он не ходил смотреть лондонские музеи—я не говорю про Британский музей, где он проводил половину времени, но там его привлекал не музей, а богатейшая в мире библиотека, те удобства, с которыми можно было там научно работать. Я говорю про обычные музеи. В музее древностей через 10 минут Владимир Ильич начинал испытывать необычайную усталость, и мы обычно очень быстро выметались из зал, увешанных рыцарскими доспехами, бесконечных помещений, уставленных египетскими и другими древними вазами. Я помню один только музейчик, из которого Ильич никак не мог уйти—это музей революции 1848 года в Париже, помещавшийся в одной комнатушке,—кажется, на rue des Cordilières,—где он осмотрел каждую вещичку, каждый рисунок.

Ильич изучал живой Лондон. Он любил забираться на верх омнибуса и подолгу ездить по городу. Ему нравилось движение этого громадного торгового города. Тихие скверы с парадными особняками, с зеркальными окнами, все увитые зеленью, где ездят только вылощен-

ные кэбы, и ютящиеся рядом грязные переулки, населенные лондонским рабочим людом, где посередине развешано белье, а на крыльце играют бледные дети, оставались в стороне. Туда мы забирались пешком и, наблюдая эти кричащие контрасты богатства и нищеты, Ильич сквозь зубы повторял: „Two nations!“ (две нации). Но и с омнибуса можно было наблюдать тоже немало характерных сцен. Около баров (распивочных) стояли опухшие, оборванные люмпены, среди них нередко можно было видеть какую-нибудь пьяную женщину с подбитым глазом, в бархатном платье со шлейфом, с вырванным рукавом и т. п. С омнибуса мы видели однажды, как могучий боби (полицейский), в своей характерной каске с подвязанным подбородком, железной рукой толкал перед собой тщедушного мальчишку, очевидно, пойманного воришку, и целая толпа шла следом с гиком и свистом. Часть ехавшей на омнибусе публики повскакала с мест и также стала гикать на воришку. „Н-д-а-а“, мычал Владимир Ильич. Раза два мы ездили на верху омнибуса вечером в дни получки в рабочие кварталы. Вдоль тротуара широкой улицы (Road — дороги) стоит бесконечный ряд лотков, освещенных каждый горящим факелом, — тротуары залиты толпой рабочих и работниц, шумной толпой, покупающей всякую всячину и тут же утоляющей свой голод. Владимира Ильича всегда тянуло в рабочую толпу. Он шел всюду, где была эта толпа — на прогулку, где усталые рабочие, выбравшись за город, часами валялись на траве, в бар, в читалку. В Лондоне много читалок — одна комната, куда входят прямо с улицы, где нет даже никакого сиденья, а лишь стойки для чтения и прикрепленные к папкам газеты; входящий берет газету и по прочтении вешает ее на место. Такие читалки хотел потом Ильич завести повсюду и у нас. Шел в народный ресторанчик, в церковь. В Англии

в церквах после богослужения бывает обычно какой-нибудь коротенький доклад и потом дискуссия. Эти-то дискуссии, где выступали рядовые рабочие, особенно любил слушать Ильич. В газетах он отыскивал объявления о рабочих собраниях в глухих кварталах, где не было парада, не было лидеров, а были рабочие от станка, как теперь говорят. Собрание посвящалось обычно обсуждению какого-нибудь вопроса, проекта, например, городов-садов. Внимательно слушал Ильич и потом радостно говорил: „Из них социализм так и прет! Докладчик пошлости разводит, а выступит рабочий, — сразу быка за рога берет, самую суть капиталистического строя вскрывает". На рядового английского рабочего, сохранившего, несмотря ни на что, свой классовый инстинкт, и надеялся всегда Ильич. Приезжие обычно видят лишь развращенную буржуазией обуржуазившуюся рабочую аристократию. Ильич изучал, конечно, и эту верхушку, конкретные формы, в которые выливается это влияние буржуазии, ни на минуту не забывал значение этого факта, но старался нащупать и движущие силы будущей революции в Англии.

По каким только собраниям мы ни шатались! Раз забрели в с.-д. церковь. В Англии есть такие. Ответственный с.-д. работник читал в нос библию, а потом говорил проповедь на тему, что исход евреев из Египта, это — прообраз исхода рабочих из царства капитализма в царство социализма. Все вставали и по с.-д. молитвенникам пели: „Выведи нас, Господи, из царства капитализма в царство социализма". Потом мы еще раз ходили в эту церковь „Семи сестер" на собеседование с молодежью. Юноша читал доклад о муниципальном социализме, доказывая, что никакая революция не нужна, а с.-д., выступивший при нашем первом посещении церкви „Семи сестер" в роли попа, заявлял, что он уже 12 лет состоит в партии и

12 лет борется с оппортунизмом, а муниципальный социализм, это — чистой воды оппортунизм.

Английских социалистов в домашнем быту мы знаем мало. Англичане — народ замкнутый. На русскую эмигрантскую богему они смотрели с наивным удивлением. Помню, как меня допрашивал один английский с.-д., с которым мы встретились раз у Тахтаревых: „Неужели вы сидели в тюрьме? Если бы мою жену посадили в тюрьму, я не знаю что бы сделал! Мою жену!“. Всепоглощающее засилье мещанства мы могли наблюдать в семье нашей квартирной хозяйки — рабочей семье, а также на англичанах, дававших нам обменные уроки. Тут мы всласть изучили всю бездонную пошлость английского мещанского быта. Один из ходивших к нам на урок англичан, заведывавший крупным книжным складом, утверждал, что он считает, что социализм — теория, наиболее правильно оценивающая вещи. „Я убежденный социалист — говорил он, — я даже одно время стал выступать как социалист. Тогда мой хозяин вызвал меня и сказал, что ему социалисты не нужны, и если я хочу остаться у него на службе, то должен держать язык за зубами. Я подумал: социализм придет неизбежно, независимо от того, буду я выступать или нет, а у меня жена и дети. Теперь я уже никому не говорю, что я социалист, но вам-то я могу это сказать“.

Этот мистер Раймонд, объехавший чуть не всю Европу, живший в Австралии, еще где-то, проведший в Лондоне долгие годы, и половины того не видал, что успел наглядеть в Лондоне Владимир Ильич за год своего пребывания там. Ильич затащил его однажды в Уайтчепль на какой-то митинг. Мистер Раймонд, как и громадное большинство англичан, никогда не бывал в этой части города, населенной русскими евреями и живущей своей непохожей на жизнь остального города жизнью, и всему удивлялся.

По нашему обыкновению мы шатались и по окрестностям города. Чаще всего ездили на так называемый Prime Rose Hill. Это был самый дешевый конец — вся прогулка обходилась шесть пенсов. С холма виден был чуть не весь Лондон — задымленная громада. Отсюда пешком уходили уже подальше на лоно природы — в глубь парков и зеленых дорог. Любили мы ездить на Prime Rose Hill и потому, что там близко было кладбище, где похоронен Маркс. Туда ходили.

В Лондоне мы встретились с членом нашей питерской группы,—с Аполлинарией Александровной Якубовой. В питерские времена она была очень активным работником, ее очень все ценили и любили, а я была еще связана с ней совместной работой в вечерне-воскресной школе за Невской заставой и общей дружбой с Лидией Михайловной Книпович. После ссылки, откуда она бежала, Аполлинария вышла замуж за Тахтарева, бывшего редактора „Рабочей Мысли“. Они жили теперь в эмиграции, в Лондоне, в стороне от работы. Аполлинария очень обрадовалась нашему приезду. Тахтаревы взяли нас под свою опеку, помогли нам устроиться дешево и сравнительно удобно. С Тахтаревыми мы все время виделись, но так как мы избегали разговоров о рабочемыслействе, то в отношениях была известная натянутость. Раза два взрывало. Объяснялись. В январе 1903 г. — кажется, Тахтаревы (Тары) — официально заявили о своем сочувствии направлению „Искры“.

Скоро должна была приехать моя мать, и мы решили устроиться по-семейному—нанять две комнаты и кормиться дома, так как ко всем этим „бычачьим хвостам“, жареным в жиру скатам, кэксам российские желудки весьма мало приспособлены, да и жили мы в это время на казенный счет, так приходилось беречь каждую копейку, а своим хозяйством жить было дешевле.

В смысле конспиративном устроились как нельзя лучше. Документов в Лондоне тогда никаких не спрашивали, можно было записаться под любой фамилией. Мы записались Рихтерами. Большим удобством было и то, что для англичан все иностранцы на одно лицо, и хозяйка так все время и считала нас немцами.

Скоро приехали Мартов и Вера Ивановна [1]) и поселились вместе с Алексеевым коммуной в одном из более напоминавших европейские домов поблизости от нас. Владимир Ильич сейчас же устроился работать в Британском музее.

Он обычно уходил туда с утра, а ко мне с утра приходил Мартов, мы с ним разбирали почту и обсуждали ее. Таким образом Владимир Ильич был избавлен от доброй доли так утомлявшей его сутолоки.

С Плехановым конфликт кое-как закончился. Владимир Ильич уехал на месяц в Бретань повидаться с матерью и Анной Ильиничной, пожить с ними у моря. Море с его постоянным движением и безграничным простором он очень любил, у моря отдыхал.

II

В Лондон сразу же стал приезжать к нам народ. Приехала Инна Смидович — Димка, вскоре уехавшая в Россию. Приехал и ее брат Петр Гермогенович, который по инициативе Владимира Ильича был окрещен Матреной. Перед тем он долго сидел. Выйдя из тюрьмы, он стал горячим искровцем. Он считал себя большим специалистом по смыванью паспортов, — их, якобы, надо было смывать по́том, и в коммуне одно время все столы стояли вверх дном, служа прессом для смываемых паспортов. Вся эта техника была весьма первобытна, как и вся наша

---

1) Засулич.

тогдашняя конспирация. Перечитывая сейчас переписку с Россией, диву даешься наивности тогдашней конспирации. Все эти письма о носовых платках (паспорта), варящемся пиве, теплом мехе (нелегальной литературе), все эти клички городов, начинающихся с той буквы, с которой начиналось название города (Одесса — Осип, Тверь — Терентий, Полтава — Петя, Псков — Паша и т. д.), вся эта замена мужских имен женскими и наоборот, — все сие было до крайности прозрачно, шито белыми нитками. Тогда это не казалось таким наивным, да и все же до некоторой степени путало следы. Первое время не было такого обилия провокаторов, как позднее. Люди были все надежные, хорошо знавшие друг друга. В России работали агенты „Искры“, им доставлялась литература из-за границы — „Искра“ и „Заря“, брошюры, — они заботились о том, чтобы искровская литература перепечатывалась в нелегальных типографиях, распространяли искровскую литературу по комитетам, заботились о доставке „Искре“ корреспонденций и о том, чтобы держать „Искру“ в курсе всей ведущейся в России нелегальной работы, собирали на нее деньги. В Самаре (у Сони) жили Грызуны — Кржижановские, Глеб Максимилианович — Клэр и Зинаида Павловна — Улитка. Там же жила Марья Ильинична — Медвежонок. В Самаре сразу образовалось нечто вроде центра. У Кржижановских особая способность группировать около себя публику. Ленгник — Курц — поселился на юге, жил одно время в Полтаве (у Пети), потом в Киеве. В Астрахани жила Лидия Михайловна Книпович — „дяденька“. В Пскове жил Лепешинский — Лапоть и Любовь Николаевна Радченко — Паша. Степан Иванович Радченко к этому времени замучился окончательно и ушел от нелегальной работы, зато не покладая рук работал на „Искру“ брат Степана Ивановича Иван Иванович (он же

Аркадий, он же Касьян). Он был раъездным агентом. Таким же агентом, развозившим по России „Искру“, был Сильвин (Бродяга). В Москве работал Бауман (он же Виктор, Дерево, Грач) и тесно связанный с ним Иван Васильевич Бабушкин (он же Богдан). К числу агентов относилась и тесно связанная с питерской организацией Елена Дмитриевна Стасова — Гуща, она же Абсолют, а также Глафира Ивановна Окулова, после провала Баумана поселившаяся под именем Зайчика в Москве (у Старухи). Со всеми ними „Искра“ вела активную переписку. Владимир Ильич просматривал каждое письмо. Мы знали очень подробно, кто из агентов „Искры“ что делает, и обсуждали с ними всю их работу; когда между ними рвались связи, — связывали их между собою, сообщали о провалах и пр.

На „Искру“ работала типография в Баку. Работа велась при условиях строжайшей конспирации; там работали братья Енукидзе, руководил делом Красин (Лошадь). Типография называлась Нина.

Потом на севере, в Новгороде, пробовали завести другую типографию — Акулину. Она очень быстро провалилась.

Прежняя нелегальная типография в Кишиневе, которой заведывал Аким (Леон Гольдман), к лондонскому периоду уже провалилась.

Транспорт шел через Вильно (через Груню).

Питерцы пробовали наладить транспорт через Стокгольм. Об этом транспорте, функционировавшем под названием „Пиво“, была бездна переписки, мы слали на Стокгольм литературу пудами, нас извещали, что пиво получено. Мы были уверены, что получено в Питере, и продолжали слать на Стокгольм литературу. Потом, в 1905 г., возвращаясь через Швецию в Россию, мы узнали,

что пиво находится все еще в „пивоварне“, попросту говоря, в стокгольмском народном доме нашей литературой был завален целый подвал.

„Малые бочки“ посылались через Варде; раз, кажись, была получена посылка, потом что-то расстроилось. В Марселе поселили Матрену. Она должна была наладить транспорт через поваров, служивших на пароходах, ходивших в Батум. В Батуме прием литературы наладили „лошади“, бакинцы. Впрочем, большинство литературы выброшено было в море (литература заворачивалась в брезент и выбрасывалась на условленном месте в воду, наши ее выуживали). Михаил Иванович Калинин, работавший тогда на заводе в Питере и входивший в организацию, через Гущу передал адрес в Тулон, какому-то матросу. Возили литературу через Александрию (Египет), налаживали транспорт через Персию. Затем налажен был транспорт через Каменец-Подольск, через Львов. Ели все эти транспорты уймищу денег, энергии, работа в них сопряжена была с большим риском, доходило, вероятно, не больше одной десятой всего посылаемого. Посылали еще в чемоданах с двойным дном, в переплетах книг. Литература моментально расхватывалась.

Особенный успех имело „Что делать“. Оно отвечало на ряд самых насущных назревших вопросов. Все очень остро чувствовали необходимость конспиративной, планомерно работающей организации.

В июне 1902 г. в Белостоке состоялась организованная Бундом (Борисом) конференция, которая вся провалилась, кроме петербургского делегата. В связи с ней провалились Бауман и Сильвин. На этой конференции решено было образовать организационный комитет по созыву съезда. Дело, однако, затянулось. Нужно было представительство от местных организаций, но они но-

сили еще крайне неоформленный, неоднородный характер. В Питере, например, организация делилась на рабочий комитет (Маня) и интеллигентский (Ваня). Рабочий комитет должен был по преимуществу вести экономическую борьбу, интеллигентский — вести высокую политику. Впрочем, эта высокая политика была довольно-таки мелкотравчатая и больше напоминала либеральную политику, чем революционную. Такая структура выросла на почве экономизма: принципиально разбитый на-голову экономизм прочно держался еще на местах. „Искра“ по достоинству оценила значение такой структуры. Особая роль в борьбе за правильную структуру организаций принадлежит Владимиру Ильичу. Его „Письмо к Ереме“, или, как оно называется в литературе, „Письмо к товарищу“ (о нем скажу дальше), сыграло исключительную роль в деле организации партии. Оно помогло орабочению партии, втягиванию в разрешение всех жгучих вопросов политики рабочих, разбило ту стену, которая была воздвигнута рабочедельцами между рабочим и интеллигентом. Зиму 1902—1903 г. в организациях была отчаянная борьба направлений, искровцы завоевывали постепенно положение, но бывало и так, что их „вышибали“.

Владимир Ильич направлял борьбу искровцев, предостерегая их от упрощенного понимания централизма, борясь со склонностью видеть в каждой живой самостоятельной работе „кустарничество“. Вся эта работа Владимира Ильича, так глубоко повлиявшая на качественный состав комитетов, мало известна молодежи, а между тем именно она определила лицо нашей партии, заложила основы ее теперешней организации.

Рабочедельцы-экономисты были особенно озлоблены на эту борьбу, лишавшую их влияния, и негодовали на „командование“ со стороны заграницы.

Для переговоров по организационным вопросам 6 августа приехал из Питера тов. Краснуха — с паролем: „Читали ли вы „Гражданин“ № 47?“. С тех пор он пошел у нас под кличкой Гражданин. Владимир Ильич много говорил с ним о питерской организации, ее структуре. В совещании принимал участие и П. А. Красиков (он же Музыкант, Шпилька, Игнат, Панкрат) и Борис Николаевич (Носков). Из Лондона Гражданина отправили в Женеву потолковать с Плехановым и окончательно „объискриться“. Через пару недель пришло письмо из Питера от Еремы, высказывавшего свои соображения о том, как должна быть организована работа на местах. Не видно было по письму, был ли Ерема отдельный пропагандист или группа пропагандистов. Но это было неважно. Владимир Ильич стал обдумывать ответ. Ответ разросся в брошюру „Письмо к товарищу“. Оно было сначала отпечатано на гектографе и распространено, а затем в июне 1903 г. издано нелегально сибирским комитетом.

В начале сентября 1902 г. приехал Бабушкин, бежавший из екатеринославской тюрьмы. Ему и Горовицу помогли бежать из тюрьмы и перейти границу какие-то гимназисты, выкрасили ему волосы, которые скоро обратились в малиновые, обращавшие на себя всеобщее внимание. И к нам он приехал малиновый. В Германии попал в лапы к комиссионерам и еле-еле удалось ему избавиться от отправки в Америку. Поселили мы его в коммуну, где он и прожил все время своего пребывания в Лондоне. Бабушкин за это время страшно вырос в политическом отношении. Это уже был закаленный революционер, с самостоятельным мнением, перевидавший массу рабочих организаций, которому нечего было учиться как подходить к рабочему — сам рабочий. Когда он пришел несколько лет перед тем в воскресную школу — это был

совсем неопытный парень. Помню такой эпизод. Был он в группе сначала у Лидии Михайловны Книпович. Был урок родного языка, подбирали какие-то грамматические примеры. Бабушкин написал на доске: „У нас на заводе скоро будет стачка“. После урока Лидия отозвала его в сторону и наворчала на него: „Если хотите быть революционером, нельзя рисоваться тем, что ты революционер, надо иметь выдержку“ и т. д., и т. п. Бабушкин покраснел, но потом смотрел на Лидию, как на лучшего друга, часто советовался с ней о делах и как-то по-особенному говорил с ней.

В то время в Лондон приехал Плеханов. Было устроено заседание совместно с Бабушкиным. Речь шла о русских делах. У Бабушкина было свое мнение, которое он защищал очень твердо, и так держался, что стал импонировать Плеханову. Георгий Валентинович стал внимательнее в него вглядываться. О своей будущей работе в России Бабушкин говорил, впрочем, только с Владимиром Ильичем, с которым был особенно близок. Еще помню один маленький, но характерный эпизод. Дня через два после приезда Бабушкина придя в коммуну мы были поражены царившей там чистотой, — весь мусор был прибран, на столах постланы газеты, пол подметен. Оказалось, порядок водворил Бабушкин. „У русского интеллигента всегда грязь — ему прислуга нужна, а сам он за собой прибирать не умеет“, сказал Бабушкин.

Он скоро уехал в Россию. Потом мы его уже не видали. В 1906 г. он был захвачен в Сибири с транспортом оружия и вместе с товарищами расстрелян у открытой могилы.

Еще до отъезда Бабушкина приехали в Лондон бежавшие из киевской тюрьмы искровцы: Бауман, Крохмаль, Блюменфельд — повезший в Россию чемодан с литературой,

провалившийся на границе с чемоданом и адресами и потом отвезенный в киевскую тюрьму, Валлах (Литвинов, Папаша), Тарсис (он же Пятница).

Мы знали, что готовится в Киеве побег из тюрьмы. Дейч, только что появившийся на горизонте, спец по побегам, знавший условия киевской тюрьмы, утверждал, что это невозможно. Однако побег удался. С воли переданы были веревки, якорь, паспорта. Во время прогулки связали часового и надзирателя и перелезли через стену. Не успел бежать только последний по очереди — Сильвин, державший надзирателя.

Несколько дней прошли как в чаду.

В половине августа пришло письмо из редакции „Южного Рабочего“, популярного нелегального органа, сообщившее о провалах на юге и о том, что редакция желала вступить с организацией „Искры“ и „Зари“ в самые тесные сношения и заявляла о своей солидарности во взглядах. Это, конечно, было большим шагом вперед в деле объединения сил. Однако в следующем письме „Южный Рабочий“ выражал недовольство резкостью полемики „Искры“ с либералами. Затем началась речь о том, что литературная группа „Южного Рабочего“ должна и впредь сохранить свою самостоятельность и т. д. Чувствовалось, что не все договаривается до конца.

Тем временем из Самары сообщили, что к ним приехал бежавший из Сибири Бронштейн (Троцкий), что он — ярый искровец, производит на всех очень хорошее впечатление. „Настоящий молодой орленок“, писали самарцы. Окрестили его Пером и отправили в Полтаву договариваться с „Южным Рабочим“. Из переговоров с „Южным Рабочим“ он вынес впечатление, что работать с публикой можно, отметил и точно формулировал пункты разногласия у „Южного Рабочего“: 1) недооценка

крестьянского движения; 2) недовольство резкостью полемики с либералами и 3) желание остаться обособленной группой и издавать свой орган, популярный.

Вскоре — кажется, в начале октября — в Лондон приехал Троцкий.

Однажды рано утром раздался неистовый стук во входную дверь. Я уж твердо знала, если стучат не условными стуками, это к нам, и поторопилась спуститься вниз открыть дверь. Оказался Троцкий, — я провела его в нашу комнату. Владимир Ильич еще только что проснулся и лежал в постели. Оставив их вдвоем, я пошла объясняться с извозчиком, устраивать кофе и т. д. Когда я вернулась, то застала Владимира Ильича еще сидящим на постели и оживленно толкующим с Троцким на какую-то довольно отвлеченную тему. И горячие рекомендации „молодого орленка“ и первый же разговор заставили Владимира Ильича особенно внимательно присматриваться к приезжему. Он много разговаривал с ним, ходил с ним на прогулку.

Владимир Ильич расспрашивал его о поездке к „Южному Рабочему“, — и ему понравилась определенность формулировок Троцкого, то, что он сразу сумел охватить самую суть разногласий, сквозь слой благожелательных заявлений разглядеть желание под фирмой популярной газеты сохранить обособленность своей группки.

Из России усиленно звали Троцкого обратно. Владимир Ильич хотел, чтобы он остался за границей, подучился и помог работой „Искре“.

Плеханов сразу взял Троцкого под подозрение: он увидал в нем сторонника молодой части редакции „Искры“ (Ленина, Мартова и Потресова), ученика Ленина. Когда Владимир Ильич послал Плеханову статьи Троцкого, тот отвечал: „Перо вашего „Пера“ мне не нравится“. „Стиль

дело наживное, — отвечал Владимир Ильич, — а человек способен учиться, будет очень полезен". В марте 1903 г. Владимир Ильич предлагал кооптировать Троцкого в редакцию „Искры".

Троцкий вскоре уехал в Париж, где начал выступать с необычайным успехом.

III

Приехала из ссылки в Олекме Екатерина Михайловна Александрова (Жак). Раньше она была видной народоволкой, и это наложило на нее определенную печать. Она не походила на наших пылких, растрепанных девиц, вроде Димки, была очень выдержана. Теперь она была искровкой; то, что она говорила, было умно.

К старым революционерам, к народовольцам, Владимир Ильич относился с уважением.

Когда приехала Екатерина Михайловна, на отношение к ней Владимира Ильича не осталось без влияния то, что она бывшая народоволка, а вот перешла к искровцам. Я и совсем смотрела на Екатерину Михайловну снизу вверх. Перед тем, как стать окончательно социал-демократкой, я пошла к Александровым (Ольминским) просить кружок рабочих. На меня произвела колоссальное впечатление скромная обстановка, всюду наваленные статистические сборники, молча сидевший в глубине комнаты Михаил Степанович и горячие речи Екатерины Михайловны, убеждавшей меня стать народоволкой. Я рассказывала об этом Владимиру Ильичу перед приездом Екатерины Михайловны. У нас началась полоса увлечения ею. У Владимира Ильича постоянно бывали такие полосы увлечения людьми. Подметит в человеке какую-нибудь ценную черту и вцепится в него... Екатерина Михайловна поехала из Лондона в Париж. Искровкой она оказалась не очень стойкой, — на 2-м

партийном съезде не без ее участия плелась сеть оппозиции против „захватнических“ намерений Ленина, потом она была в примиренческом ЦК, потом сошла с политической сцены.

Из приезжавших в Лондон из России товарищей помню еще Бориса Гольдмана — „Адель“ и Доливо-Добровольского — „Дно“.

Б. Гольдмана я еще знала по Питеру, где он работал по технике, печатая листки „Союза Борьбы“. Человек, чрезвычайно колеблющийся, в то время он был искровцем. „Дно“ поражал своей тихостью. Сидит, бывало, тихо, как мышь. Он вернулся в Питер, но скоро сошел с ума, а потом, выздоровев наполовину, застрелился. Трудна тогда была жизнь нелегала, не всякий мог ее вынести.

Всю зиму шла усиленная работа по подготовке съезда. В ноябре 1902 года конституировался организационный комитет по подготовке съезда (в ОК вошли представители „Южного Рабочего“, Северного Союза, Краснуха, И. И. Радченко, Красиков, Ленгник, Кржижановский; Бунд вначале воздержался от вхождения).

Название „организационный“ соответствовало сути дела. Без ОК никогда не удалось бы созвать съезда. Нужно было при труднейших полицейских условиях произвести сложную работу по увязке организационной и идейной только еще оформившихся и продолжавших оформляться коллективов, по увязке мест с заграницей. Вся работа по сношениям с ОК и подготовке съезда фактически легла на Владимира Ильича. Потресов был болен, его легкие не были приспособлены к лондонским туманам, и он где-то лечился. Мартов тяготился Лондоном, его замкнутой жизнью и, поехав в Париж, застрял там. Должен был жить в Лондоне Дейч, бежавший с каторги старый член группы „Освобождение Труда“. Группа „Освобождение

Труда“ надеялась на него, как на крупного организатора. „Вот приедет Женька (кличка Дейча), — говорила Вера Ивановна, — он наладит все сношения с Россией как нельзя лучше“. На него надеялись и Плеханов и Аксельрод, считая, что это будет их представитель в редакции „Искры“, который за всем будет следить. Однако, когда приехал Дейч, оказалось, что долгие годы оторванности от русских условий наложили на него свой отпечаток. Для сношений с Россией он оказался совершенно неприспособленным, не знал новых условий, его тянуло на людей, он вошел в заграничную лигу русских социал-демократов, повел широкие сношения с заграничными колониями и тоже вскоре уехал в Париж.

Постоянно жила в Лондоне Вера Ивановна, она охотно слушала рассказы о русской работе, но сама вести сношения с Россией не могла, не умела. Все легло на Владимира Ильича. Переписка с Россией ужасно трепала ему нервы. Ждать неделями, месяцами ответов на письма, ждать постоянно провала всего дела, постоянно пребывать в неизвестности, как развертывается дело, — все это как нельзя менее соответствовало характеру Владимира Ильича. Его письма в Россию переполнены просьбами писать аккуратно: „Еще раз усердно и настоятельно просим и молим писать нам чаще и подробнее,—в частности, немедленно, непременно в тот же день, как получится письмо, известить нас хоть парой строк о его получении“... Переполнены письма просьбами действовать скорее. Ночи не спал Ильич после каждого письма из России, сообщавшего о том, что „Соня молчит, как убитая“, или, что „Зарин во-время не вошел в комитет“, или что „нет связи со Старухой“. Остались у меня в памяти эти бессонные ночи. Владимир Ильич страстно мечтал о создании единой сплоченной партии, в которой растворились бы все обо-

собленные кружки с своими основывавшимися на личных симпатиях и антипатиях отношениями к партии, в которой не было бы никаких искусственных перегородок, в том числе и национальных. Отсюда борьба с Бундом. Бунд в то время в своем большинстве стоял на рабочедельской точке зрения. И Владимир Ильич не сомневался, что если Бунд сохранит только автономию в своих чисто национальных делах, ему неминуемо придется итти в ногу с партией. А Бунд хотел сохранить за собой полную самостоятельность во всех вопросах, он говорил о своей, особой от РСДРП, политической партии, он соглашался примкнуть лишь на федеративных началах. Такая тактика была убийственна для еврейского пролетариата. В одиночку еврейский пролетариат не мог никогда победить. Только слившись с пролетариатом всей России, мог он стать силой. Бундовцы этого не понимали. И потому редакция „Искры" вела с Бундом ярую борьбу. Это была борьба за единство, за сплоченность рабочего движения. Борьбу вела вся редакция, но бундовцы знали, что самым страстным сторонником борьбы за единство является Владимир Ильич.

Вскоре группа „Освобождение Труда" вновь поставила вопрос о переезде в Женеву, и на этот раз уже один только Владимир Ильич голосовал против переезда туда. Начали собираться. Нервы у Владимира Ильича так разгулялись, что он заболел тяжелой нервной болезнью — „священный огонь", которая заключается в том, что воспаляются кончики грудных и спинных нервов.

Когда у Владимира Ильича появилась сыпь, взялась я за медицинский справочник. Выходило, что по характеру сыпи это — стригущий лишай. Тахтарев — медик не то четвертого, не то пятого курса — подтвердил мои предположения, и я вымазала Владимира Ильича иодом, чем причинила ему мучительную боль. Нам и в голову не при-

ходило обратиться к английскому врачу, ибо платить надо было гинею. В Англии рабочие обычно лечатся своими средствами, так как доктора очень дороги. Дорогой в Женеву Владимир Ильич метался, а по приезде туда свалился и пролежал две недели.

Из работ, которые не нервировали Владимира Ильича в Лондоне, а дали ему известное удовлетворение, было писание брошюры „К деревенской бедноте". Крестьянские восстания 1902 года привели Владимира Ильича к мысли о необходимости написать брошюру для крестьян. В ней он растолковывал, чего хочет рабочая партия, объяснял, почему крестьянской бедноте надо итти с рабочими. Ни на чем, может быть, не видать так, как на этой брошюре, как далеко ушла жизнь за эти годы: брошюра страшно устарела. Тогда эта брошюра имела очень большое значение. Написана она очень просто и понятно. Это была первая брошюра, в которой Владимир Ильич обращался к крестьянству. Теперь надо создать аналогичную брошюру, объясняющую крестьянам теперешнюю программу коммунистической партии. Это лучше всего выяснит для крестьян необходимость смычки рабочих и крестьян. Такой брошюры нет. О необходимости издания такой брошюры говорил как-то Владимир Ильич в последнее время своей жизни.

В апреле 1903 года мы переехали в Женеву.

ЖЕНЕВА

1903 г.

В Женеве мы поселились в пригороде, в рабочем поселке Séchéron, — целый домишко заняли: внизу большая кухня с каменным полом, наверху три маленьких комнатушки. Кухня была у нас и приемной. Недостаток мебели пополнялся ящиками из-под книг и посуды. Игнат (Краси-

ков) в шутку назвал как-то нашу кухню „притоном контрабандистов“. Толчея у нас сразу образовалась непротолченая. Когда надо было с кем потолковать в особицу, уходили в рядом расположенный парк или на берег озера.

Понемногу стали съезжаться делегаты. Приехали Дементьевы. Костя (жена Дементьева) прямо поразила Владимира Ильича своими познаниями транспортного дела. „Вот это настоящий транспортер! — повторял он, — вот это дело, а не болтовня“. Приехала Любовь Николаевна Раденко, с которой мы лично были очень близко связаны, разговорам не было конца. Потом приехали ростовские делегаты — Гусев и Локерман, затем Землячка, Шотман (Берг), Дяденька, Юноша (Дмитрий Ильич). Каждый день кто-нибудь приезжал. С делегатами толковали по вопросам программы, Бунда, слушали их рассказы. У нас постоянно сидел Мартов, не устававший говорить с делегатами. Приехал Троцкий. Пустили и его в оборот. Поселили у него „для обработки“ вновь приехавшего питерского делегата Шотмана.

Надо было осветить делегатам позицию „Южного Рабочего“, который, прикрываясь фирмой популярной газеты, хотел сохранить для себя право на обособленное существование. Надо было выяснить, что при условии нелегального существования популярная газета не может стать массовой, не может рассчитывать на массовое распространение. Позицию Владимира Ильича и Мартова в этом вопросе взялся защищать Троцкий, против выступил Плеханов. В кафе Ландольд состоялось собрание съехавшихся делегатов и произошла дискуссия между Плехановым и Троцким. Делегатам, которые в своем большинстве сталкивались в России с „Южным Рабочим“, показалась более правильной позиция Троцкого. Плеханов был вне себя.

В редакции „Искры“ пошли всякие недоразумения. Положение стало невыносимым. Делилась редакция обычно на две тройки: Плеханов, Аксельрод, Засулич — с одной стороны, Ленин, Мартов, Потресов — с другой. Владимир Ильич внес опять предложение, которое он вносил уже в марте, о кооптации в редакцию седьмого члена — Троцкого. Кооптация не могла состояться ввиду категорического протеста Плеханова. Владимир Ильич пришел однажды с заседания редакции взбешенный до крайности. „Чорт знает что! — говорил он, — ни у кого не хватает мужества возразить Плеханову. Ну, вот Вера Ивановна! Плеханов разносит Троцкого, а она говорит: „Это, Жорж, у него голос только громкий!“. Я так не могу!“ Временно, до съезда, кооптировали Красикова: надо было иметь в редакции седьмого. В связи с этим Владимир Ильич стал обдумывать вопрос о тройке. Это был очень больной вопрос, и с делегатами об этом не говорилось. О том, что редакция „Искры“ в ее прежнем составе стала неработоспособна, об этом слишком тяжело было говорить.

Приехавшие жаловались на членов ОК: одного обвиняли в резкости, халатности, другого — в пассивности, мелькало недовольство тем, что „Искра“-де стремится слишком командовать, но казалось, что разногласий нет и что после съезда дела пойдут прекрасно.

Делегаты съезжались, не приехали только Клэр и Курц.

ПОСЛЕ ВТОРОГО СЪЕЗДА

Первоначально съезд предполагалось устроить в Брюсселе, там и происходили первые заседания. В Брюсселе жил в то время Кольцов — старый плехановец. Он взял на себя устройство всего дела. Однако устроить съезд в Брюсселе оказалось не так-то легко. Явка была назначена у Кольцова. Но после того, как к нему пришло штуки четыре россиян, квартирная хозяйка заявила Кольцовым, что больше она этих хождений не потерпит, и если придет еще хоть один человек, пусть они немедленно же съезжают с квартиры. И жена Кольцова стояла целый день на углу, перехватывала делегатов и направляла их в социалистическую гостиницу „Золотой Петух“ (так она, кажись, называлась).

Делегаты шумным лагерем расположились в этом „Золотом Петухе“, а Гусев, хватив рюмочку коньяку, таким могучим голосом пел по вечерам оперные арии, что под окнами отеля собиралась толпа (Владимир Ильич очень любил пение Гусева, особенно „Нас венчали не в церкви“...).

Со съездом переконспирировали. Бельгийская партия придумала для-ради конспирации устроить съезд в громадном мучном складе. Своим вторжением мы поразили не только крыс, но и полисменов. Заговорили о русских революционерах, собирающихся на какие-то тайные совещания.

На съезде было 43 делегата с решающим голосом и 14 с совещательным. Если сравнить этот съезд с теперешними, где представлены в лице многочисленных делегатов сотни тысяч членов партии, он кажется маленьким, но тогда он казался большим: на первом съезде в 1898 году было всего ведь 9 человек... Чувствовалось, что за пять лет порядочно ушли вперед. Главное, организации, от которых приехали делегаты, не были уже полумифическими, они были уже оформлены, они были связаны с начинавшим широко развертываться рабочим движением.

Как мечтал об этом съезде Владимир Ильич! Всю жизнь — до самого конца — он придавал партийным съездам исключительно большое значение; он считал, что партийный съезд, это — высшая инстанция, на съезде должно быть отброшено все личное, ничто не должно быть затушевано, все сказано открыто. К партийным съездам Ильич всегда особенно тщательно готовился, особенно заботливо обдумывал к ним свои речи. Теперешняя молодежь, которая не знает, что значит годами ждать возможности обсудить сообща, со всей партией в целом, самые основные вопросы партийной программы и тактики, которая не представляет себе, с какими трудностями связан был созыв нелегального съезда в те времена, — вряд ли поймет до конца это отношение Ильича к партийным съездам.

Так же страстно, как Ильич, ждал съезда и Плеханов. Он открывал съезд. Большое окно мучного склада около импровизированной трибуны было завешено красной материей. Все были взволнованы. Торжественно звучала речь Плеханова, в ней слышался неподдельный пафос. И как могло быть иначе! Казалось, долгие годы эмиграции уходили в прошлое, он присутствовал, он открывал съезд Российской социал-демократической рабочей партии.

По существу дела 2-й съезд был учредительным. На нем ставились коренные вопросы теории, закладывался фундамент партийной идеологии. На 1-м съезде было принято только название партии и манифест об ее образовании. Вплоть до 2-го съезда программы у партии не было. Редакция „Искры“ эту программу подготовила. Долго обсуждалась она в редакции. Обосновывалось, взвешивалось каждое слово, каждая фраза, шли горячие споры. Между членами редакции месяцами велась переписка о программе между мюнхенской и швейцарской частью редакции. Многим практикам казалось, что эти споры носят чисто кабинетный характер, и что совсем не важно, будет стоять в программе какое-нибудь „более или менее“, или его стоять не будет.

Мы вспоминали однажды с Владимиром Ильичем одно сравнение, приведенное где-то Л. Толстым: идет он и видит издали — сидит человек на корточках и машет как-то нелепо руками; он подумал — сумасшедший, подошел ближе — видит: человек нож о тротуар точит. Так бывает и с теоретическими спорами. Слушать со стороны: зря люди препираются, вникнуть в суть — дело касается самого существенного. Так и с программой было.

Когда в Женеву стали съезжаться депутаты, больше всего, детальнее всего с ними обсуждался вопрос о программе. На съезде этот вопрос прошел наиболее гладко.

Другой вопрос громадной важности, обсуждавшийся на 2-м съезде, был вопрос о Бунде. На 1-м съезде было постановлено, что Бунд составляет часть партии, хотя и автономную. В течение пяти лет, которые прошли со времени 1-го съезда, партии, как единого целого, в сущности не было, и Бунд вел обособленное существование. Теперь Бунд хотел закрепить эту обособленность, установив с РСДРП лишь федеративные отношения. Подкладка этого заклю-

чалась в том, что Бунд, отражая настроение ремесленников еврейских местечек, гораздо больше интересовался борьбой экономической, чем политической, и потому гораздо больше симпатизировал экономистам, чем „Искре“. Вопрос шел о том, быть ли в стране единой сильной рабочей партии, тесно сплачивающей вокруг себя рабочих всех национальностей, проживающих на территории России, или же быть в стране нескольким обособленным по национальностям рабочим партиям. Вопрос шел об интернациональном сплочении внутри страны. Редакция „Искры“ стояла за интернациональное сплочение рабочего класса, Бунд — за национальную обособленность и лишь дружественные договорные отношения между национальными рабочими партиями России.

Вопрос о Бунде также детально обсуждался с приехавшими делегатами и также решен был в духе „Искры“ громадным большинством.

Позднее факт раскола заслонил перед многими те громадной важности принципиальные вопросы, которые были поставлены и разрешены на 2-м съезде. Владимир Ильич во время обсуждения этих вопросов чувствовал особую близость к Плеханову. Речь Плеханова о том, что основным демократическим принципом должно являться положение: „высший закон — благо революции“ и что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения этого основного принципа, произвела на Владимира Ильича глубокое впечатление. Он вспоминал о ней, когда 14 лет спустя перед большевиками встал во весь рост вопрос о роспуске Учредительного собрания.

И другая речь Плеханова — о значении народного образования, о том, что оно есть „гарантия прав пролетариата“, была созвучна с мыслями Владимира Ильича.

Плеханов на съезде тоже чувствовал близость к Ленину.

Отвечая Акимову, ярому рабочедельцу, жаждавшему посеять рознь между Плехановым и Лениным, Плеханов шутя говорил: „У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами; иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Тов. Акимов в этом отношении похож на Наполеона, — он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы; я не стану разводиться с Лениным, и надеюсь, и он не намерен разводиться со мной". Владимир Ильич смеялся и отрицательно качал головой.

При обсуждении первого пункта порядка дня (о конституировании съезда), по вопросу о приглашении представителя группы „Борьба" (Рязанов, Невзоров, Гуревич), неожиданно разыгрался инцидент. ОК [1]) пожелал выступить на съезде с особым мнением. Дело было вовсе не в группе „Борьба", а в том, что ОК попытался связать своих членов особой дисциплиной — перед лицом съезда. ОК захотел выступить как группа, предварительно решающая в своей среде, как надо голосовать, и выступающая на съезде как группа. Таким образом высшей инстанцией для члена съезда являлась бы группа, а не сам съезд. Владимир Ильич вскипел прямо от возмущения. Но не только он поддержал Павловича (Красикова), восставшего против такой попытки, поддержали его и Мартов и другие. Хотя ОК был съездом распущен, однако инцидент был знаменателен и предвещал всяческие осложнения. Впрочем, временно инцидент отодвинулся на задний план, поскольку на первый план выдвинулись вопросы колоссальной принципиальной важности — вопрос о месте Бунда в партии и вопрос о программе. По вопросу о Бунде

---

[1]) Организационный комитет.

и редакция „Искры“, и ОК, и делегаты с мест выступили очень дружно. Представитель „Южного Рабочего“, член ОК Егоров (Левин) также со всей решительностью выступал против Бунда. Плеханов во время перерыва говорил ему всяческие комплименты, говорил, что его речь надо-де „распубликовать по всем коммунам“.

В начале съезда Троцкий выступал очень удачно. На него все смотрели тогда, как на ярого сторонника Ленина, и кто-то подшил ему даже прозвище „ленинской дубинки“. Да и сам Владимир Ильич в то время менее всего думал, что Троцкий колебнется. Бунд клали на обе лопатки. Прочно устанавливалось положение, что национальные особенности не должны мешать единству партийной работы, монолитности социал-демократического движения.

Тем временем пришлось перебираться в Лондон. Брюссельская полиция стала придираться к делегатам и выслала даже Землячку и еще кого-то. Тогда снялись все. В Лондоне устройству съезда всячески помогли Тахтаревы. Полиция лондонская не чинила препятствий.

Продолжал обсуждаться вопрос о Бунде. Затем, пока подрабатывался в комиссии вопрос о программе, перешли к 4-му пункту порядка дня, к вопросу об утверждении центрального органа. Таковым — при возражениях со стороны рабочедельцев — единодушно признана была „Искра“. „Искру“ горячо приветствовали. Даже представитель ОК Попов (Розанов) говорил о том, что „вот здесь, на съезде, мы видим единую партию, созданную в значительной степени деятельностью „Искры“. Акимов недоумевал: если мы не утверждаем редакции „Искры“, то что же мы утверждаем—имя? „Не имя утверждаем мы, тов. Акимов, а знамя, знамя, вокруг которого фактически сплотилась наша партия!“, отвечал ему Троцкий. Это было десятое заседание, а их было 37.

Над съездом начинали понемногу скопляться тучи. Предстоял выбор тройки в ЦК. Основного ядра ЦК не было еще налицо. Несомненной была кандидатура Глебова (Носкова), зарекомендовавшего себя как неутомимого организатора. Другой несомненной кандидатурой была бы кандидатура Клэра (Кржижановского), если бы он был на съезде. Но на съезде его не было. За него и за Курца (Ленгника) приходилось голосовать заглазно, „по доверию“, что было весьма даже неудобно. Между тем на съезде было слишком много „генералов“, кандидатов в ЦК. Таковыми были Жак („Штейн“, Александрова), Фомин (Крохмаль), Штерн („Костя“ — Роза Габельштадт), Попов (Розанов), Егоров (Левин). Все это — кандидаты на 2 места в цекистскую тройку. Кроме того, все знали друг друга не только как партийных работников, но знали и личную жизнь друг друга. Тут была целая сеть личных симпатий и антипатий. Чем ближе подходили выборы, тем напряженнее становилась атмосфера. Обвинения, бросавшиеся Бундом и „Рабочим Делом“, в желании командовать, диктовать свою волю из заграничного центра и пр., хотя и встречали дружный отпор вначале, делали свое дело, влияя на центр, на колеблющихся, — может быть, даже помимо их сознания. Боялись командования, чьего? Конечно, не Мартова, Засулич, Старовера и Аксельрода. Боялись командования Ленина и Плеханова. Но знали, что в вопросе о составе, о русской работе будет определять Ленин, а не Плеханов, стоявший в стороне от практической работы.

Съезд утвердил направление „Искры“, но предстояло еще утверждать редакцию „Искры“.

Владимир Ильич выдвинул проект о том, чтобы редакцию „Искры“ составить из трех лиц. Об этом проекте Владимир Ильич ранее сообщил Мартову и Потресову.

Мартов отстаивал перед съезжавшимися делегатами редакционную тройку как наиболее деловую. Тогда он понимал, что тройка направлена была главным образом против Плеханова. Когда Владимир Ильич передал Плеханову записку с проектом редакционной тройки, Плеханов не сказал ни слова и, прочитав записку, молча положил ее в карман. Он понял, в чем дело, но шел на это. Раз партия — нужна деловая работа.

Мартов больше всех членов редакции вращался среди членов ОК. Очень скоро его уверили, что тройка направлена против него и что если он войдет в тройку, он предаст Засулич, Потресова, Аксельрода. Аксельрод и Засулич волновались до крайности.

В такой атмосфере споры о § 1 устава приняли особо острый характер. Ленин и Мартов политически и организационно разошлись по вопросу о § 1-м партийного устава. Они нередко расходились и раньше, но раньше эти расхождения происходили в рамках тесного кружка и быстро изживались, теперь разногласия выступили на съезде, и все те, кто имел зуб против „Искры“, против Плеханова и Ленина, постарались раздуть расхождение в крупный принципиальный вопрос. На Ленина стали нападать за статью „С чего начать“, за книжку „Что делать“, изображать честолюбцем и пр. Владимир Ильич выступал на съезде резко. В своей брошюре „Шаг вперед, два назад“ он писал: „Не могу не вспомнить по этому поводу одного разговора моего на съезде с кем-то из делегатов „центра“. „Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде! — жаловался он мне. — Эта ожесточенная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полемика, это нетоварищеское отношение!“. „Какая прекрасная вещь наш съезд! — отвечал я ему. — Открытая свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. Группы наметились.

Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Вперед! Вот это я понимаю! Это жизнь! Это не то, что бесконечные, нудные интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить". Товарищ из „центра" смотрел на меня недоумевающими глазами и пожимал плечами. Мы говорили на разных языках".

В этой цитате весь Ильич.

С самого начала съезда нервы его были напряжены до крайности. Бельгийская работница, у которой мы поселились в Брюсселе, очень огорчалась, что Владимир Ильич не ест той чудесной редиски и голландского сыру, которые она подавала ему по утрам, а ему было и тогда уже не до еды. В Лондоне же он дошел до точки, совершенно перестал спать, волновался ужасно.

Никто не ждал раскола. Мне запомнился один разговор с Троцким. Как ни бешено выступал Владимир Ильич в прениях, — как председатель он был в высшей степени беспристрастен, не позволял себе ни малейшей несправедливости по отношению к противнику. Другое дело Плеханов. Он, председательствуя, особенно любил блестеть остроумием и дразнить противника. После какой-то шутки Плеханова — кажется, о том, что лошади не говорят, а вот ослы, к сожалению, этим занимаются — Троцкий сказал мне: „Уговорите Владимира Ильича взять председательствование, ведь Плеханов доведет дело до раскола".

Не в председателе было дело, однако.

Хотя громадное большинство делегатов не разошлось по вопросу о месте Бунда в партии, по вопросу о программе, о признании направления „Искры" своим знаменем, но уже к середине съезда почувствовалась определенная трещина, углублявшаяся к концу его. Собственно говоря, серьезных разногласий, мешавших совместной

работе, делавших ее невозможной, на 2-м съезде еще не выявилось, они были еще в скрытом состоянии, в потенции, так сказать. А между тем съезд распадался явным образом на две части. Многим казалось, что во всем виноваты нетактичность Плеханова, „бешенство“ и честолюбие Ленина, шпильки Павловича, несправедливое отношение к Засулич и Аксельроду, — и они примыкали к обиженным, из-за лиц не замечали сути. Не заметил ее и Троцкий. А суть была в том, что товарищи, группировавшиеся около Ленина, гораздо серьезнее относились к принципам, хотели во что бы то ни стало осуществить их, пропитать ими всю практическую работу; другая же группа была более обывательски настроена, склонна была к компромиссам, к принципиальным уступкам, более взирала на лица.

Борьба во время выборов носила крайне острый характер. Осталась в памяти пара предвыборных сценок. Аксельрод корит Баумана (Сорокина) за недостаток, якобы, нравственного чутья, поминает какую-то ссыльную историю, сплетню. Бауман молчит, и слезы стоят у него на глазах.

И другая сценка. Дейч что-то сердито выговаривает Глебову (Носкову), тот поднимает голову и, блеснув загоревшимися глазами, с досадой говорит: „Помолчали бы вы уж в тряпочку, папаша!“

Съезд кончился. В ЦК выбрали Глебова, Клэра и Курца, при чем из 44 решающих голосов — 20 воздержалось от голосования, в ЦО выбрали Плеханова, Ленина и Мартова. Мартов от участия в редакции отказался. Раскол был налицо.

«ПЯТЫЙ» ГОД

В ЭМИГРАЦИИ

Уже в ноябре 1904 г., в брошюре „Земская кампания и план „Искры“ и затем в декабре, в статьях в №№ 1—3 „Вперед“, Ильич писал о том, что близится время настоящей, открытой борьбы масс за свободу. Он ясно чувствовал приближение революционного взрыва. Но одно дело чувствовать это приближение, а другое — узнать, что революция уже началась. И потому, когда пришла весть в Женеву о 9 января, когда дошла весть о той конкретной форме, в которой началась революция,— точно изменилось все кругом, точно далеко куда-то в прошлое ушло все, что было до этого времени. Весть о событиях 9 января долетела до Женевы на следующее утро. Мы с Владимиром Ильичем шли в библиотеку и по дороге встретили шедших к нам Луначарских. Запомнилась фигура жены Луначарского, Анны Александровны, которая не могла говорить от волнения и лишь беспомощно махала муфтой. Мы пошли туда, куда инстинктивно потянулись все большевики, до которых долетела весть о питерских событиях,— в эмигрантскую столовку Лепешинских. Хотелось быть вместе. Собравшиеся почти не говорили между собой, слишком все были взволнованы. Запели „Вы жертвою пали...“, лица были сосредоточены. Всех охватило сознание, что революция уже началась, что порваны путы

веры в царя, что теперь совсем уже близко то время, когда „падет произвол, и восстанет народ, великий, могучий, свободный...“.

Мы зажили той своеобразной жизнью, какой жила в то время вся женевская эмиграция: от одного выпуска местной газеты „Трибунки“ до другого.

Все мысли Ильича были прикованы к России.

Вскоре приехал в Женеву Гапон. Попал он сначала к эсерам, и те старались изобразить дело так, что Гапон „их“ человек, да и все рабочее движение Питера также дело их рук. Они страшно рекламировали Гапона, восхваляли его. В то время Гапон стоял в центре всеобщего внимания, и английский „Times“ (газета „Время“) платил ему бешеные деньги за каждую строку.

Через некоторое время после приезда Гапона в Женеву к нам пришла под вечер какая-то эсеровская дама и передала Владимиру Ильичу, что его хочет видеть Гапон. Условились о месте свидания на нейтральной почве, в кафе. Наступил вечер. Ильич не зажигал у себя в комнате огня и шагал из угла в угол.

Гапон был живым куском нараставшей в России революции, человеком, тесно связанным с рабочими массами, беззаветно верившими ему, и Ильич волновался этой встречей.

Один товарищ недавно возмутился: как это Владимир Ильич имел дело с Гапоном!

Конечно, можно было просто пройти мимо Гапона, решив наперед, что от попа не будет никогда ничего доброго. Так это и сделал, например, Плеханов, принявший Гапона крайне холодно. Но в том-то и была сила Ильича, что для него революция была живой, что он умел всматриваться в ее лицо, охватывать ее во всем ее многообразии, что он знал, понимал, чего хотят массы. А зна-

ние массы дается лишь соприкосновением с ней. Как мог пройти Ильич мимо Гапона, близко стоявшего к массе, влиявшего так на нее!

Владимир Ильич, придя со свидания с Гапоном, рассказывал о своих впечатлениях. Тогда Гапон был еще обвеян дыханием революции. Говоря о питерских рабочих, он весь загорался, он кипел негодованием, возмущением против царя и его приспешников. В этом возмущении было немало наивности, но тем непосредственнее оно было. Это возмущение было созвучно с возмущением рабочих масс. „Только учиться ему надо,—говорил Владимир Ильич.—Я ему сказал: „Вы, батенька, лести не слушайте, учитесь, а то вон где очутитесь“,—показал ему под стол“.

8 февраля Владимир Ильич писал в № 7 „Вперед“: „Пожелаем, чтобы Георгию Гапону, так глубоко пережившему и перечувствовавшему переход от воззрений политически бессознательного народа к воззрениям революционным, удалось доработаться до необходимой для политического деятеля ясности революционного миросозерцания“.

Гапон никогда не доработался до этой ясности. Он был сыном богатого украинского крестьянина, до конца сохранил связь со своей семьей, со своим селом. Он хорошо знал нужды крестьян, язык его был прост и близок серой рабочей массе; в этом его происхождении, в этой его связи с деревней, может быть, одна из тайн его успеха; но трудно было встретить человека, так насквозь проникнутого поповской психологией, как Гапон. Раньше он никогда не знал революционной среды, а по натуре своей был не революционером, а хитрым попом, шедшим на какие угодно компромиссы. Он рассказывал как-то: „Одно время нашли на меня сомнения, поколебалась во мне вера. Совсем расхворался, поехал в Крым. В то время

был там старец, говорили, святой жизни. Поехал я к нему, чтобы в вере укрепиться. Пришел я к старцу; у ручья народ собравшись, и старец молебен служит. В ручье ямка, будто конь Георгия Победоносца тут ступил. Ну, глупость, конечно. Но думаю, не в этом дело,—вера у старца глубока. Подхожу после молебна к старцу благословиться. А он скидает ризу да говорит: „А мы тут лавку свечную поставили, наторговали сколько!“ Вот те и вера! Еле живой я домой дошел. Был у меня приятель тогда, художник Верещагин, говорит: „брось священство!“ Ну, подумал я: сейчас на селе родителей уважают, отец — старшина, ото всех почет, а тогда станут все в глаза бросать: сын—растрига! Не сложил я сана“.

В этом рассказе весь Гапон.

Учиться он не умел. Он уделял немало времени, чтобы учиться стрелять в цель и ездить верхом, но с книжками дело у него плохо ладилось. Правда, он, по совету Ильича, засел за чтение плехановских сочинений, но читал их как бы по обязанности. Из книг Гапон учиться не умел. Но не умел он учиться и из жизни. Поповская психология застилала ему глаза. Попав вновь в Россию, он скатился в бездну.

С первых же дней революции Ильичу стала сразу ясна вся перспектива. Он понял, что теперь движение будет расти как лавина, что революционный народ не остановится на полпути, что его нельзя остановить, что рабочие ринутся в бой с самодержавием. Победят ли рабочие, или будут побеждены,—это видно будет в результате схватки. А чтобы победить, надо быть как можно лучше вооруженным.

У Ильича было всегда какое-то особое чутье, глубокое понимание того, что переживает в данную минуту рабочий класс.

Меньшевики, ориентируясь на либеральную буржуазию, которую надо было еще раскачивать, толковали о том, что надо „развязать“ революцию,— Ильич знал, что рабочие уже решились бороться до конца. И он был с ними. Он знал, что остановиться на полдороге нельзя, что это внесло бы в рабочий класс такую деморализацию, такое понижение энергии в борьбе, принесло бы такой громадный ущерб делу, что на это нельзя было итти ни под каким видом. И история показала, что в революции пятого года рабочий класс потерпел поражение, но побежден не был, его готовность к борьбе не была сломлена. Этого не понимали те, кто нападал на Ленина за его „прямолинейность“, кто после поражения не умел ничего сказать, кроме того, что „не нужно было браться за оружие“. Оставаясь верным своему классу, нельзя было не браться за оружие, нельзя было авангарду оставлять свой борющийся класс.

И Ильич неустанно звал авангард рабочего класса — партию к борьбе, к организации, к работе над вооружением масс. Он писал об этом во „Вперед“, в письмах в Россию.

„Девятое января 1905 г. обнаружило весь гигантский запас революционной энергии пролетариата и всю недостаточность организации социал-демократов“, писал В. И. в начале февраля в своей статье „Должны ли мы организовать революцию“, каждая строка которой дышит призывом перейти от слов к делу.

Ильич не только перечитал и самым тщательным образом проштудировал, продумал все, что писали Маркс и Энгельс о революции и восстании,— он прочел немало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон технику вооруженного восстания, организацию его. Он занимался этим делом гораздо больше, чем это знают, и его разговоры об ударных группах во время партизан-

ской войны, „о пятках и десятках“ были не болтовней профана, а обдуманным всесторонне предложением.

Служащий „Société de lecture“ был свидетелем того, как раненько каждое утро приходил русский революционер в подвернутых от грязи на швейцарский манер дешевеньких брюках, которые он забывал отвернуть, брал оставленную со вчерашнего дня книгу о баррикадной борьбе, о технике наступления, садился на привычное место к столику у окна, приглаживал привычным жестом жидкие волосы на лысой голове и погружался в чтение. Иногда только вставал, чтобы взять с полки большой словарь и отыскать там объяснение незнакомого термина, а потом ходил все взад и вперед и, сев к столу, что-то быстро, сосредоточенно писал мелким почерком на четвертушках бумаги.

Большевики изыскивали все средства, чтобы переправлять в Россию оружие, но то, что делалось, была капля в море. В России образовался Боевой комитет (в Питере), но работал он медленно. Ильич писал в Питер: „В таком деле менее всего пригодны схемы да споры и разговоры о фракциях Боевого комитета и правах его. Тут нужна бешеная энергия и еще энергия. Я с ужасом, ей-богу с ужасом, вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали. А говорят ученейшие люди. Идите к молодежи, господа. Вот единственное всеспасающее средство. Иначе, ей-богу, вы опоздаете (я это по всему вижу) и окажетесь с „учеными“ записками, планами, чертежами, схемами, великолепными рецептами, но без организации, без живого дела... Не требуйте никаких формальностей, наплюйте, Христа ради, на все схемы, пошлите вы, бога для, все „функции, права и привилегии“ ко всем чертям“...

И большевики делали в смысле подготовки вооруженного восстания немало, проявляя нередко колоссальный героизм, рискуя каждую минуту жизнью. Подготовка вооруженного восстания — таков был лозунг большевиков. О вооруженном восстании толковал и Гапон.

Вскоре по приезде он выступает с проектом боевого соглашения революционных партий. В № 7 „Вперед“ (от 8 февраля 1905 г.) Владимир Ильич дает оценку предложения Гапона и подробно освещает весь вопрос о боевых соглашениях.

Гапон взял на себя задачу снабдить питерских рабочих оружием. В распоряжение Гапона поступали всякого рода пожертвования. Он закупал в Англии оружие. Наконец, дело было слажено. Найден был пароход — „Графтон“, капитан которого согласился везти оружие и сгрузить его на одном из островов невдалеке от русской границы. Не имея представления, как ведутся нелегальные транспортные дела, Гапон представлял себе дело гораздо проще, чем оно было в действительности. Чтобы организовать дело, он взял у нас нелегальный паспорт и связи и отправился в Питер. Владимир Ильич видел во всем предприятии переход от слов к делу. Оружие нужно рабочим во что бы то ни стало. Из всего предприятия, однако, ничего не вышло. „Графтон“ сел на мель, и вообще подъехать к намеченному острову оказалось невозможным. Но и в Питере Гапон ничего не смог сделать. Ему пришлось скрываться в убогих квартирах рабочих. Пришлось жить под чужим именем, все сношения были страшно затруднены, адреса эсеров, где надо было условиться о приеме транспорта, оказались мифическими. Только большевики послали на остров своих людей. На Гапона все это произвело ошеломляющее впечатление. Жить нелегально, впроголодь, никому не показываясь, совсем не то, что высту-

пать, ничем не рискуя, на тысячных собраниях. Налаживать конспиративную доставку оружия могли лишь люди совершенно иного революционного закала, чем Гапон, готовые итти на всякую безвестную жертву...

Другой лозунг, выдвинутый Ильичем, это — поддержка борьбы крестьян за землю. Эта поддержка дала бы рабочему классу возможность опираться в своей борьбе на крестьянство. Крестьянскому вопросу Владимир Ильич всегда уделял много внимания. Революционным до конца классом он считал лишь пролетариат. В свое время, при обсуждении программы партии ко 2-му съезду, Владимир Ильич выдвинул — и горячо его отстаивал — лозунг возвращения крестьянам „отрезков" земли, отрезанной у них при реформе 1861 года.

Ему казалось, что для того, чтобы увлечь за собой крестьянство, надо выставить возможно более близкое крестьянам конкретное требование. Подобно тому, как агитацию среди рабочих начинали социал-демократы с борьбы за кипяток, за сокращение рабочего дня, за своевременную выплату заработной платы, так и крестьянство надо сорганизовать вокруг конкретного лозунга.

Пятый год заставил Ильича пересмотреть этот вопрос. Беседы с Гапоном — крестьянином по происхождению, сохранившим связь с деревней; беседы с Матюшенко, — матросом с „Потемкина", с рядом рабочих, приезжавших из России и близко знавших, что делается в деревне, убедили Ильича, что лозунг об отрезках недостаточен, что нужно выдвинуть более широкий лозунг — конфискации помещичьей, удельной и церковной земли. Недаром Ильич в свое время так усердно рылся в статистических сборниках и детально вскрывал экономическую связь между городом и деревней, между крупной и мелкой промышленностью, между рабочим классом и

крестьянством. Он видел, что настал момент, когда эта экономическая связь должна послужить базой могущественного политического влияния пролетариата на крестьянство.

Запомнилась мне такая сценка. Однажды Гапон попросил Владимира Ильича прослушать написанное им воззвание, которое он начал с большим пафосом читать. Воззвание было переполнено проклятиями царю. „Не нужно нам царя,— говорилось в воззвании,— пусть будет один хозяин у земли — бог, а вы все у него будете арендатели!“ (в то время крестьянское движение еще шло как раз по линии борьбы за понижение арендной платы). Владимир Ильич расхохотался, — больно уж наивен был образ, а с другой стороны, очень уж выпукло выступило то, чем Гапон был близок массе: сам крестьянин, он разжигал у рабочих, наполовину еще сохранивших связь с деревней, исконную затаенную жажду земли.

Смех Владимира Ильича смутил Гапона. „Может, не так что, — сказал он, — скажите, я поправлю“. Владимир Ильич сразу стал серьезен. „Нет,— сказал он,— это не выйдет, у меня весь ход мысли другой, пишите уже своим языком, по-своему“.

Вспоминается другая сцена. Дело было уже после третьего съезда, после восстания „Потемкина“. Потемкинцы были интернированы в Румынии, страшно бедствовали, Гапон в то время получал много денег,— и за свои воспоминания, и пожертвования ему всякие передавали на дело революции,— он целыми днями возился с закупкой одежи для потемкинцев. Приехал в Женеву один из самым видных участников восстания на Потемкине — матрос Матюшенко. Он сразу сошелся с Гапоном, ходили они неразлучно.

В то время приехал к нам парень из Москвы (я не помню уж его клички), молодой краснощекий приказчик

из книжного склада, недавно ставший социал-демократом. Привез поручение из Москвы. Парень рассказал, как и почему он стал социал-демократом, а потом стал распространяться, почему правильна программа социал-демократической партии, и излагать ее — с горячностью вновь обращенного — пункт за пунктом. Владимиру Ильичу стало скучно, и он ушел в библиотеку, оставив меня поить парня чаем и выуживать из него, что можно. Парень продолжал излагать программу. В это время пришли Гапон и Матюшенко. Я было и их собралась поить чаем, да парень в это время дошел как раз до изложения „отрезков". Услыша изложение этого пункта, при чем парень стал доказывать, что дальше борьбы за отрезки итти крестьяне не должны, — Матюшенко и Гапон вскипели: „Вся земля народу!".

Не знаю, до чего бы дело дошло, если бы не пришел Ильич. Быстро разобравшись, о чем идет спор, он не стал говорить по существу, а увел Гапона и Матюшенко к себе. Я постаралась поскорее сплавить парня.

На декабрьской Таммерфорсской конференции Ильич внес предложение: пункт об отрезках вовсе выбросить из программы.

Вместо него введен был пункт о поддержке революционных мероприятий крестьянства, вплоть до конфискации помещичьих, казенных, церковных, монастырских и удельных земель.

Иначе посмотрел на дело пользовавшийся тогда громадным влиянием немецкий социал-демократ Каутский. Он написал тогда в „Neue Zeit", что в России революционное городское движение должно оставаться нейтральным в вопросе об отношениях между крестьянством и помещиком.

Теперь Каутский — один из самых видных предателей рабочего дела, но тогда он считался революционным

социал-демократом. Когда другой немецкий социал-демократ, Бернштейн, поднял в конце девяностых годов знамя борьбы с марксизмом, стал доказывать, что надо пересмотреть учение Маркса, что многое в учении Маркса устарело, отжило свой век, что цель (социализм) — ничто, а движение — все, — Каутский тогда открыто выступил против Бернштейна в защиту учения Маркса. Книжку Каутского против Бернштейна („Anti-Bernstein“) на немецком языке прислал Владимиру Ильичу в ссылку Потресов: она чрезвычайно понравилась Владимиру Ильичу. Мы стали переводить ее и перевели в две недели для товарищей по ссылке. Имя Каутского было в то время окружено ореолом наиболее революционного и последовательного ученика Маркса. Поэтому утверждение Каутского смутило, огорчило Ильича, он принялся даже выгораживать его, говоря, что для западно-европейских отношений это, может быть, и верно, но русская революция может победить, опираясь только на крестьянство.

Однако этот отзыв Каутского побудил Ильича проверить, правильно ли излагает Каутский точку зрения Маркса и Энгельса. Владимир Ильич изучает отношение Маркса к аграрному движению в Америке в 1848 г., отношение Энгельса в 1885 г. к Генри Джорджу. В апреле Владимир Ильич дает уже статью „Маркс об американском „черном переделе“.

Он кончает эту статью словами: „Вряд ли найдется другая страна в мире, где бы крестьянство переживало такие страдания, такое угнетение и надругательство, как в России. Чем беспросветнее было это угнетение, тем более могучим будет теперь его пробуждение, тем непреоборимее будет его революционный натиск. Дело сознательного революционного пролетариата — всеми силами поддержать этот натиск, чтобы он не оставил камня

на камне в старой, проклятой, крепостнически-самодержавной рабочей России, чтобы он создал новое поколение свободных и смелых людей, создал новую республиканскую страну, в которой развернется на просторе наша пролетарская борьба за социализм".

В Женеве большевистский центр гнездился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами, „Каружки" (Rue de Carouge) и реки Арвы. Тут помещалась редакция „Вперед", экспедиция, большевистская столовка Лепешинских, тут жили Бонч-Бруевич, Лядовы (Мандельштамы), Ильины. У Бонч-Бруевичей бывал постоянно Орловский, Ольминский и др. Богданов, вернувшись в Россию, сговорился с Луначарским, который и приехал в Женеву и вступил в редакцию „Вперед". Луначарский оказался блестящим оратором, очень много содействовал укреплению большевистских позиций. С той поры Владимир Ильич стал очень хорошо относиться к Луначарскому, веселел в его присутствии и был к нему порядочно-таки пристрастен даже во времена расхождения с впередовцами. Да и Анатолий Васильевич в его присутствии всегда был особенно оживлен и остроумен. Помню, как однажды — кажется, в 1919 или 1920 г. — Анатолий Васильевич, вернувшись с фронта, описывал Владимиру Ильичу свои впечатления и как блестели глаза у Владимира Ильича, когда он его слушал.

Луначарский, Воровский, Ольминский — хорошая это была подкрепа „Вперед". Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, заведывавший всей хозяйственной частью, непрерывно сиял, строил разные грандиозные планы, возился с типографией.

Чуть не каждый вечер собирались большевики в кафе Ландольд и подолгу засиживались там за кружкой пива, обсуждая события в России, строя планы.

Уезжали многие, многие готовились к отъезду.

В России шла агитация за третий съезд. Так многое изменилось со времени второго съезда, так много новых вопросов выдвинула жизнь, что новый съезд стал прямо необходим. Большинство комитетов высказывались за съезд. Образовалось „Бюро комитетов большинства". ЦК накооптировал массу новых членов, в том числе и меньшевиков,— в массе своей он был примиренческим и всячески тормозил созыв 3-го съезда. После провала ЦК, имевшего место в Москве на квартире у писателя Леонида Андреева, оставшиеся на воле члены ЦК согласились на созыв съезда. Съезд устроен был в Лондоне. На нем явное большинство было бы за большевиками. И потому меньшевики на съезд не пошли, а своих делегатов собрали на конференцию в Женеву.

На съезд от ЦК приехал Зоммер (он же Марк — Любимов) и Винтер (Красин). Марк имел архимрачный вид, Красин — такой, точно ничего не случилось. Делегаты бешено нападали на ЦК за его примиренческую позицию. Марк сидел темнее тучи и молчал. Молчал и Красин, подперев рукой щеку, но с таким невозмутимым видом, точно все эти ядовитые речи не имели к нему ровно никакого отношения. Когда дошла до него очередь, он спокойным голосом сделал доклад, не возражая даже на обвинения,— и всем ясно стало, что больше говорить не о чем, что было у него примиренческое настроение и прошло, что отныне он становится в ряды большевиков, с которыми пойдет до конца.

Партийцы знают теперь ту большую и ответственную работу, которую нес Красин во время революции пятого года по вооружению боевиков, по руководству подготовкой боевых снарядов и пр. Делалось все это конспиративно, без шума, но вкладывалась в это дело масса

энергии. Владимир Ильич больше, чем кто-либо, знал эту работу Красина и с тех пор всегда очень ценил его.

С Кавказа приехало четверо: Миха Цхакая, Алеша Джапаридзе, Леман и Каменев. Мандата было три. Владимир Ильич допрашивал: кому же принадлежат мандаты, — мандатов три, а человека четыре. Кто получил большинство голосов? Миха возмущенно отвечал: „Да разве у нас на Кавказе голосуют?! Мы дела все решаем по-товарищески. Нас послали четырех, а сколько мандатов, не важно". Миха оказался старейшим членом съезда,— ему было в это время 50 лет. Ему и поручили открыть съезд. От полесского комитета был Лева Владимиров. Много раз писали мы ему в Россию о расколе, и никаких реплик не получали. В ответ на письма, где описывались выходки мартовцев, мы получали письма, где рассказывалось, сколько и каких листков распространено, где были в Полесьи стачки, демонстрации. На съезде Лева держался твердым большевиком.

Были на съезде из России еще Богданов, Посталовский (Вадим), Румянцев (П. П.), Рыков, Саммер, Землячка, Литвинов, Скрыпник, Бур, Шкловский, Крамольников и другие.

На съезде чувствовалось во всем, что в России переживается разгар рабочего движения. Были приняты резолюции о вооруженном восстании, о временном революционном правительстве, об отношении к тактике правительства накануне переворота, по вопросу об открытом выступлении РСДРП, об отношении к крестьянскому движению, об отношении к либералам, об отношении к национальным социал-демократическим организациям, о пропаганде и агитации, об отколовшейся части партии и т. д.

По предложению Владимира Ильича, делавшего доклад по аграрному вопросу, пункт об „отрезках" был перене-

сен в комментарии, на первый же план выдвинут был вопрос о конфискации помещичьих, удельных и церковных земель.

Еще два вопроса были характерны для 3-го съезда — вопрос о двух центрах и вопрос об отношении между рабочими и интеллигентами.

На 2-м съезде преобладали литераторы и практические работники, много поработавшие для партии в той или иной форме, но связанные с русскими организациями, только еще складывавшимися, весьма слабыми узами.

3-й съезд носил уже иную физиономию. В России организации к этому времени уже вполне оформились, — это были нелегальные комитеты, работавшие при страшно тяжелых конспиративных условиях. Комитеты почти нигде, в силу этих условий, не включали в себя рабочих, но влияние на рабочее движение они имели большое. Листки, „распоряжения“ комитета были созвучны настроению рабочих масс, — они чувствовали руководство; комитеты пользовались поэтому у них большой популярностью, при чем действия их облекались для большинства рабочих дымкой таинственности. Рабочие нередко собирались отдельно от интеллигентов для обсуждения коренных вопросов движения. На 3-й съезд было прислано заявление 50 одесских рабочих по основным вопросам расхождений между меньшевиками и большевиками, при чем сообщалось, что на собрании, где обсуждался этот вопрос, не было ни одного интеллигента.

„Комитетчик“ был обычно человеком довольно самоуверенным,— он видел, какое громадное влияние на массы имеет работа комитета; „комитетчик“, как правило, никакого внутрипартийного демократизма не признавал: провалы одни от этого демократизма только получаются, с движением мы и так-де связаны, — говорили „комитет-

чики"; „комитетчик" всегда внутренно презирал немного „заграницу", которая-де с жиру бесится и склоки устраивает: „посадить бы их в русские условия". „Комитетчик" не желал засилья заграницы. Вместе с тем он не хотел новшеств. Приспособляться к быстро менявшимся условиям „комитетчик" не хотел и не умел.

В период 1904—1905 года „комитетчики" вынесли на своих плечах колоссальную работу, но многие из них с громадным трудом приспособлялись к условиям растущих легальных возможностей и открытой борьбы.

На 3-м съезде не было рабочих — по крайней мере, не было ни одного сколько-нибудь заметного рабочего. Кличка „Бабушкин" относилась вовсе не к рабочему Бабушкину, который в это время был в Сибири, а, насколько помню, к тов. Шкловскому. Зато „комитетчиков" на съезде было много. Тот, кто упустит из виду эту физиономию 3-го съезда, многого в протоколах съезда не поймет.

Вопрос об „обуздании заграницы" ставился не только „комитетчиками", но и другими видными работниками. Во главе оппозиции загранице шел Богданов.

Многое тут говорилось зря, но Владимир Ильич не особенно близко принимал это к сердцу. Он считал, что благодаря развивающейся революции значение заграницы ежечасно падает, знал, что и сам он „не жилец" уже за границей, и о чем только он заботился, так это о том, чтобы ЦК быстро осведомлял ЦО (ЦО должен был отныне называться „Пролетарием" и пока что издаваться за границей). Он настаивал также, чтобы были организованы периодические свидания между заграничной и русской частью ЦК.

Острее стоял вопрос о введении рабочих в комитеты.

За введение рабочих в комитеты особенно горячо стоял Владимир Ильич. За — были также Богданов,

„заграничники“ и литераторы, против — „комитетчики“. Горячился Владимир Ильич, горячились „комитетчики“. „Комитетчики“ настояли, чтобы резолюция по этому поводу не выносилась: нельзя же, в самом деле, было выносить резолюцию, что рабочих не надо вводить в комитет!

Выступая в прениях, Владимир Ильич говорил: „Я думаю, что надо взглянуть на дело шире. Вводить рабочих в комитеты есть не только педагогическая, но и политическая задача. У рабочих есть классовый инстинкт, и при небольшом политическом навыке рабочие довольно скоро делаются выдержанными социал-демократами. Я очень сочувствовал бы тому, чтобы в составе наших комитетов на каждых двух интеллигентов было 8 рабочих. Если совет, высказанный в литературе, — по возможности вводить рабочих в комитеты,— оказался недостаточным, то было бы целесообразно, чтобы такой совет был высказан от имени съезда. Если вы будете иметь ясную и определенную директиву съезда, то вы будете иметь радикальный способ борьбы с демагогией: вот ясная воля съезда“.

Владимир Ильич и раньше многократно отстаивал необходимость вводить рабочих в возможно большем числе в комитеты. Он писал об этом и в своем „Письме петербургскому товарищу“ еще в 1903 году. Теперь, защищая на съезде ту же точку зрения, он ужасно горячился, вставлял „цвишенруфы“. Когда Михайлов (Поставловский) сказал: „Таким образом на практике к интеллигентам предъявляются очень низкие требования, а к рабочим непомерно высокие“,— Владимир Ильич вскрикнул: „Совершенно верно!“ Его восклицание было покрыто хором „комитетчиков“: „Неверно!“

Когда Румянцев сказал: „В петербургском комитете — только один рабочий, несмотря на то, что работа в Петер-

бурге ведется лет 15“, Владимир Ильич крикнул: „Экое безобразие!“

И потом, при заключении дебатов, Ильич говорил: „Я не мог сидеть спокойно, когда говорили, что рабочих, годных в члены комитета, нет. Вопрос оттягивается: очевидно, в партии есть болезнь. Рабочих надо вводить в комитеты“. Если Ильич не очень огорчался по поводу того, что его точка зрения провалилась с таким треском на съезде, так только потому, что он знал,—надвигающаяся революция радикально вылечит партию от неумения орабочивать комитеты.

И еще один большой вопрос стоял на съезде: о пропаганде и агитации.

Как-то, помню, к нам в Женеву приехала девица из Одессы и жаловалась: „Рабочие предъявляют к комитету невозможные требования: хотят, чтобы мы давали им пропаганду. Разве это возможно? Мы можем давать им только агитацию!“

На Ильича сообщение одесской девицы произвело довольно сильное впечатление. Оно оказалось как бы введением в прения о пропаганде. Оказалось,—об этом говорили и Землячка, и Миха Цхакая, и Десницкий,—старые формы пропаганды умерли, пропаганда превратилась в агитацию. С колоссальным ростом рабочего движения устная пропаганда и даже агитация вообще не могли удовлетворить потребностей движения: нужна была популярная литература, популярная газета, литература для крестьян, для народностей, говорящих на других языках...

Сотни новых вопросов выдвигала жизнь, которые нельзя было разрешить в рамках прежней нелегальной организации. Их можно было разрешить лишь путем постановки в России ежедневной газеты, путем широкого легального издательства. Однако пока что свобода печати

не была еще завоевана. Решено было издавать в России нелегальную газету, образовать там группу литераторов, обязанных заботиться о популярной литературе. Но ясно, что все это были паллиативы.

На съезде немало говорили о разгоравшейся революционной борьбе. Были приняты резолюции о событиях в Польше и на Кавказе. „Движение становится все шире и шире,— рассказывал уральский делегат,— давно пора перестать смотреть на Урал, как на отсталый, сонный край, неспособный двинуться. Политическая стачка в Лысьве, многочисленные стачки по разным заводам, разнообразные признаки революционного настроения, вплоть до аграрно-заводского террора в самых разнообразных формах мелких стихийных демонстраций,— все это признаки, что Урал накануне крупного революционного движения. Что это движение на Урале примет форму вооруженного восстания,— это весьма вероятно. Урал был первый, где рабочие пустили бомбы, выставили даже пушки (на Воткинском заводе). Товарищи, не забывайте об Урале!“

Само собой, Владимир Ильич долго толковал с уральским делегатом.

В общем и целом 3-й съезд правильно наметил линии борьбы. Меньшевики те же вопросы разрешали по-другому. Принципиальную разницу между резолюциями 3-го съезда и резолюциями меньшевистской конференции Владимир Ильич осветил в брошюре „Две тактики социал-демократии в демократической революции“.

Вернулись мы в Женеву. Я попала в комиссию по редактированию протоколов съезда вместе с Камским и Орловским. Камский уехал, Орловский оказался страшно занят. В Женеве, куда приехало после съезда порядочное число делегатов, организовали проверку протоколов. В те времена никаких стенографисток не было, специальных

секретарей также, протокол писали по очереди по 2 члена съезда, сдавая потом мне. Не все члены съезда были хорошими секретарями. На съезде протоколы зачитывать, само собой, не удавалось. В Женеве, в столовке Лепешинских, устроена была проверка протоколов совместно с делегатами. Само собою, каждый делегат находил, что его мысль записана неверно, и хотел делать вставки. Вставки делать не разрешалось, вносить поправки можно было лишь тогда, когда остальные делегаты признавали правомерность поправки. Работа была очень трудна. Не обходилось и без столкновений. Скрыпник (Шенский) требовал выдачи ему протоколов на дом, и когда ему было указано, что тогда протоколы надо выдавать всем на руки — и от протоколов останутся рожки да ножки, Скрыпник возмутился и печатными буквами написал протест в ЦК по поводу невыдачи ему протоколов.

Когда черновая работа была закончена, немало ушло времени на редактирование протоколов и у Орловского.

В июле пришли первые протоколы заседания нового ЦК. В них писалось о том, что российские меньшевики не согласны с „Искрой“ и также будут проводить бойкот, что ЦК хотя обсуждал вопрос о поддержке крестьянского движения, но пока еще ничего не предпринял, хочет советоваться с агрономами.

Письмо показалось страшно скупым.

Следующее письмо о работе ЦК было еще скупее.

Ильич страшно нервничал. Подышав на съезде русской атмосферой, труднее было переносить оторванность от русской работы.

В половине августа в письме к ЦК Ильич убеждал ЦК „перестать быть немым“, не ограничиваться обсуждением вопросов промеж себя. „У ЦК есть какой-то внутренний дефект“, писал он русским цекистам.

В последующих письмах он жестоко ругается за то, что не выполняется постановление о регулярном осведомлении ЦО.

В сентябрьском письме, обращенном к „Августу“, Ильич пишет: „Дожидаться полной солидарности с ЦК или в среде его агентов — утопия. Не кружок, а партия, милый друг!“ В том же письме, отвечая на возмущенное сообщение, что наши печатают листки Троцкого, Ильич пишет: „...печатают листки Троцкого... ничего худого тут нет, если листки сносные и выправленные!“

В письме к Гусеву от 13 октября 1905 г. он указывает на необходимость вести, на-ряду с подготовкой к вооруженному восстанию, и профессиональную борьбу, но вести эту борьбу в большевистском духе, давая и тут бой меньшевикам.

На женевском горизонте появились предвестники свободы печати. Появились издатели, наперерыв предлагавшие издать легально вышедшие за границей нелегально брошюры. Одесский „Буревестник“, издательство Малых и др. — все предлагали свои услуги.

ЦК предлагал воздерживаться от заключения каких бы то ни было договоров, так как предполагал наладить свое издательство.

В начале октября возник вопрос о поездке Ильича в Финляндию, где предполагалось свидание с ЦК, но развивавшиеся события поставили вопрос иначе — Владимир Ильич собрался ехать в Россию. Я должна была еще остаться на пару недель в Женеве, чтобы ликвидировать дела. Вместе с Ильичем разобрали мы его бумаги и письма, разложили по конвертам, Ильич надписал собственноручно каждый конверт. Все было уложено в чемодан и сдано на хранение, кажется, тов. Карпин-

скому. Этот чемодан сохранился и был доставлен уже после смерти Ильича в институт Ленина. В нем была масса документов и писем, бросающих яркий свет на историю партии.

В сентябре Ильич писал в ЦК:

„Относительно Плеханова сообщаю вам для осведомления здешние слухи. Он явно озлобился на нас за разоблачение перед Международным бюро. Ругается, как сапожник, в № 2 „Дневника Социал-Демократа“. Говорят то об его особой газете, то о возвращении его в „Искру“. Вывод: недоверие к нему должно усилиться“.

И 8 октября В. И. продолжает: „Усердно прошу бросить теперь совсем мысль о Плеханове и назначьте своего делегата из большевиков. Хорошо бы назначить Орловского“.

Но когда пришли вести, что есть возможность в России наладить ежедневную газету, когда Ильич собрался уже ехать, он написал Плеханову горячее письмо, где звал Плеханова сотрудничать в газете. „Тактические разногласия наша революция сама сметает с поразительной быстротой. Создается почва, на которой всего легче будет забыть старое, спеться на живом деле“... В конце Ильич просил Плеханова о свиданьи. Не помню, имело ли оно место. Вероятно, нет, потому что тогда этот факт вряд ли забылся бы.

Плеханов в Россию в 1905 году не ездил.

26 октября Ильич уже сговаривается детально в письме о своем возвращении в Россию. „Хорошая у нас в России революция, ей богу!“, пишет он там. И отвечая на вопрос о сроке восстания, он говорит: „Я бы оттянул восстание до весны. Но ведь нас все равно не спрашивают“.